

Даниэль Штайн, переводчик

Автор:

Людмила Улицкая

Даниэль Штайн, переводчик

Людмила Евгеньевна Улицкая

Мудрая старуха, обитающая среди книг и молчания. Озлобленная коммунистка, доживающая свой век в израильском приюте. Сорокалетняя американка – якобы благополучная, но искалеченная воспоминаниями. Немка, ради искупления вины своего народа работающая в христианской общине под Хайфой. Католическая монахиня, ныне православная попадья, нашедшая себя на Святой Земле. Израильский радикал, неуравновешенный подросток, грустный араб-христианин, специалист по иудаике. Большая политика и частная жизнь. США, Израиль, Польша, Литва, Россия. А в центре этого разрозненного и все же отчаянно единого мира – еврей, бывший «крот» в гестапо, бывший партизан, ныне – католический священник. Человек, чья жизнь объясняет, как люди живы до сих пор, как не утопили себя в ненависти и боли. Новый роман Людмилы Улицкой – о странствиях духа во мраке мира, о том, как всякий ищет и находит свет вокруг и в себе. О Даниэле Руфайзене – человеку, с чьей жизнью не способна соперничать никакая литература. О человеке, который до последнего дня оставался милосердным солдатом.

Людмила Улицкая

Даниэль Штайн, переводчик

Роман по следам документов

Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками; но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на

незнакомом языке.

1 Кор. 14,18-19

КНИГА НАДЕЖДЫ

«...без него я не имел бы живого, наглядного представления о типе тех евреев, которые после Христа создали Христианство». Такими словами Владимир Соловьев охарактеризовал личность И.Д. Рабиновича, основавшего в 1884 году в Кишиневе иудео-христианскую общину «Вифлеем». Не принимая ни одной из исторически сложившихся христианских церквей, Рабинович видел смысл своей веры в проповеди истины обетованного Мессии, живого Христа. Все остальное для него было второстепенным и исторически обусловленным. Но разве не эта вера в Мессию определяла и деятельность первых апостолов, спрашивает философ? «Вся истина была дана во Христе, – продолжает он, – но не вся сразу раскрыта для христианского сознания. Только при полном равнодушии к исторической правде можно утверждать, что все догматы православия, ныне нами усвоенные, исповедовались явно и определительно всю Церковь с самого ее начала – от времен Христа и апостолов... Как тогда, так и теперь, именно с этой мессианской истины должен был начинать верующий иудей, чтобы на своей религиозно-исторической почве сознательно принять христианство». Правда, по мнению Соловьева, единственная ошибка Рабиновича заключалась в том, «что от евреев, еще не верящих в истину христианства, он прямо требовал, чтобы они относились к христианскому миру так, как если бы они уже были истинными христианами, требовал, чтобы они сразу простили и забыли все то зло, которое они перенесли в христианском мире».

Впрочем, не будем более утомлять читателя пространными историческими обзорами. Мы едва ли бы обратились к прецеденту давно забытой кишиневской общины, если бы не нашли в ней определенного сходства с опытом главного героя замечательной книги Людмилы Улицкой. Но только определенного... Оба, и Рабинович, и Даниэль Штайн-Руфайзен, искали во Христе подлинного Мессию, обетованного Израилю. Оба совершали богослужения в своих общинах на родном языке – один на идише, другой на иврите. Оба пытались понять, как веровал их Учитель. И оба потерпели неудачу. Созданные ими общины смогли продержаться всего лишь несколько лет и прекратили свое существование

после смерти их основателей. Не оказалось ли для них христианство тем «недоразумением», о котором говорил Ф. Ницше?

Нет, не оказалось. По крайней мере, для героя этой книги и его реального прототипа – не оказалось. Почему? Послушаем самого Даниэля Штайна: «Когда я приехал в Израиль, мне было важно понять, во что веровал наш Учитель? И чем более я углублялся в изучение того времени, тем яснее осознавал, что Иисус был настоящим иудеем, который в своей проповеди призывал выполнять заповеди, но считал, что одного исполнения – мало, и только любовь – единственный ответ человека Богу, и главное в поведении человека – непричинение зла другому, сострадание и милосердие. Учитель призывал к расширению любви. Он не давал никаких новых догматов, и новизна его учения заключалась в том, что Любовь Он ставил выше Закона...»

Это – слова Даниэля Штайна, достойно пережившего Шоа, Катастрофу европейского еврейства. Они прямо или косвенно могли бы быть произнесены Паулем Целаном, автором бессмертной «Фуги смерти», или Арнольдом Шенбергом, пронзительно озвучившем кошмар гетто в «Пережившем из Варшавы», или Эли Визелем, гениально передавшим ночь человеческой экзистенции в своей «Ночи», или Клодом Ланцманном, трезво повествующем о погружении в небытие, или... имже несть числа...

«И тогда мне открылось, что Бог был вместе со страдающими. Бог может быть только со страдающими, и никогда – с убийцами. Его убивали вместе с нами. Страдающий вместе с евреями Бог был мой Бог. Я понял, что Иисус действительно был Мессия, и что Его смерть и Воскресение и есть ответ на мои вопросы».

Как Дитрих Бонхеффер смог проложить путь христианской ортодоксии после Шоа, так попытался осуществить христианство Даниэль Штайн-Руфайзен в ортопраксии.

«...только христианская практика, то есть жизнь умершего на кресте, пусть живет она, она – христианская... Еще сегодня такая жизнь возможна, для определенных людей даже необходима: подлинное, первоначальное христианство возможно во все времена», – произнесет разочарованный во всем Ницше.

Да, оно возможно во все времена, с надеждою скажем мы.

Священник Игнатий Крекшин,

Тюбинген

Часть первая

1. Декабрь, 1985 г., Бостон.

Эва Манукян

Я всегда мерзну. Даже летом на пляже, под обжигающим солнцем, холод в позвоночнике не проходит. Наверное, потому, что я родилась в лесу, зимой, и первые месяцы моей жизни провела в отпоротом от материнской шубы рукаве. Вообще-то я не должна была выжить, поэтому если уж кому жизнь подарок, то мне. Только не знаю, нужен ли мне был этот подарок.

У некоторых людей память о себе включается очень рано. Моя начинается с двух лет, со времен католического приюта. Мне всегда было очень важно знать, что происходило со мной и моими родителями все те годы, о которых я ничего не помню. Кое-что я узнала от старшего брата Витека. Но он в те годы был слишком маленьким, и его воспоминания, которые перешли мне от него в наследство, не восстанавливают картины. Он в больнице исписал половину школьной тетрадки – рассказал мне все, что помнил. Тогда мы не знали, что мать жива. Брат умер от сепсиса в шестнадцатилетнем возрасте до ее возвращения из лагеря.

В моих документах местом моего рождения называется город Эмск. В действительности это место моего зачатия. Из Эмского гетто моя мать сбежала в августе 1942 года, на шестом месяце беременности. С ней был мой шестилетний брат Витек. Родилась я километрах в ста от Эмска в непроходимых лесах, в тайном поселении сбежавших из гетто евреев, укрывавшихся там до самого освобождения Белоруссии в августе 1944 года. Это был партизанский

отряд, хотя на самом деле никакой это был не отряд, а три сотни евреев, пытавшихся выжить в оккупированном немцами крае. Мне представляется, что мужчины с оружием скорее охраняли этот земляной город с женщинами, стариками и несколькими выжившими детьми, чем воевали с немцами.

Отец мой, как рассказала мне много лет спустя мать, остался в гетто и там погиб – через несколько дней после побега все обитатели гетто были расстреляны. Мать сказала мне, что мой отец отказался уходить, считая, что побег только озлобит немцев и ускорит расправу. И тогда моя беременная мать взяла Витека и ушла. Из восьмисот обитателей гетто на побег решились тогда только триста.

В гетто согнали жителей Эмска и евреев из окрестных деревень. Мать моя не была местной жительницей, но оказалась в тех краях не случайно, а была послана туда связной из Львова. Она была одержимой коммунисткой. Витека родила она в львовской тюрьме в тридцать шестом от своего партийного товарища, а меня от другого мужчины, с которым познакомилась в гетто. В жизни я не встречала женщины, менее склонной к материнству, чем моя мать. Думаю, что родились мы с братом исключительно из-за отсутствия превентивных средств и абортариев. В юности я ее ненавидела, потом много лет отчужденно изумлялась и до сего дня едва терплю общение с ней. Слава богу, крайне редкое.

Всякий раз, когда я задаю ей какой-нибудь вопрос о прошлом, она ощетиливается и начинает орать: в ее глазах я всегда оставалась аполитичной мешанкой. Я и есть такая. Но я родила ребенка, и я точно знаю: когда появляется ребенок, жизнь женщины подчиняется этому факту. Больше или меньше. Только не у нее. Она – партийная маньячка.

Месяц тому назад меня познакомили с Эстер Гантман. Такая прелестная прозрачная старуха, очень белая, с высиненной сединой. Она приятельница Карин, они работали вместе в какой-то благотворительной организации, и Карин давно мне про эту Эстер говорила, но я ею совершенно не заинтересовалась. Незадолго до Рождества Карин устроила прием по поводу своего пятидесятилетия, и я сразу обратила внимание на Эстер. Она чем-то выделялась в большой толпе полужнакомого народа. Вечеринка эта была намного сердечнее, чем это бывает обыкновенно у американцев: все-таки было много поляков, несколько русских и пара югославов. Словом, славянское присутствие на этом американском празднике как-то приятно ощущалось, временами слышалась

польская речь.

По-русски и по-польски я говорю одинаково свободно, а в английском у меня польский акцент, на что и обратила внимание Эстер, когда мы перебрасывались какими-то незначительными репликами в пределах светской болтовни.

– Из Польши? – спросила она.

Этот вопрос меня всегда немного озадачивает: мне трудно ответить – не станешь же вместо лаконичного ответа бросаться в пространный рассказ о том, что мать моя родилась в Варшаве, а я родилась в Белоруссии неизвестно от кого, детство провела в России, в Польшу попала только в пятьдесят четвертом, потом снова уехала учиться в Россию, оттуда переехала в ГДР, а уж потом в Америку...

Но в этот раз я почему-то сказала то, чего никогда не говорю:

– Я родом из Эмска. Точнее, из Черной Пущи.

Старуха тихо ахнула:

– Когда ты родилась?

– В сорок втором. – Я никогда не скрываю возраста, потому что знаю, что выгляжу молодо, мне моих сорока трех никогда не дают.

Она обняла меня легкими ручками, и голубая ее прическа затряслась старческой дрожью:

– Боже мой, боже мой! Значит, ты выжила! Эта сумасшедшая родила тебя в землянке, мой муж принимал роды... А потом, не помню точно, кажется, месяца не прошло, она взяла детей и ушла неизвестно куда. Все уговаривали ее остаться, но она никого не слушала. Все были уверены, что вас схватят на дороге или в первой же деревне... Велик Господь – ты выжила!

Тут нас вынесло в прихожую. Мы просто расцепиться не могли. Стащили с вешалки нашу одежду – смешно, но шубы были одинаковые – толстые, лисьи, в Америке почти неприличные. Потом оказалось, что Эстер тоже из мерзлявых...

Поехали к ней – она живет в центре Бостона, на Коммонуэлс-авеню, в чудесном квартале, в десяти минутах от меня. Пока мы ехали – я за рулем, она рядом – у меня возникло такое странное чувство: всю жизнь я мечтала иметь кого-то старшего, мудрого, кто мог бы мной руководить, кого бы я могла слушать, радостно подчиняться, – и никогда такого не было. В приюте, конечно, была строгая дисциплина, но это совсем другое дело. В жизни моей я всегда за старшего – взрослыми не были ни мать, ни мужья, ни друзья. А в этой старухе было что-то такое, что заранее хотелось согласиться со всем, что она ни скажет...

Вошли в ее дом. Она зажгла свет – в прихожей начинались стеллажи с книгами, и они уходили в глубь квартиры. Она отметила мой взгляд.

– Это библиотека моего покойного мужа. Он читал на пяти языках. И масса книг по искусству. Надо найти хорошие руки, кому бы это оставить...

Тут я вспомнила, что именно говорила мне Карин: Эстер – бездетная вдова, довольно богатая, очень одинокая. Почти все родственники погибли во время войны.

Вот что мне рассказала Эстер: мою мать она увидела в первый раз в Эмском гетто, когда туда стали сгонять жителей из окрестностей – до того в гетто были только городские евреи. Они вроде бы добровольно туда заселились, потому что незадолго до переселения в гетто в городке было ужасное истребление евреев – их собрали на городской площади, между костелом и православной церковью, и начали убивать. Полторы тысячи убили, и оставшиеся в живых ушли в гетто.

Это было не обычное старинное гетто – один или несколько кварталов, где евреи обитали со времен Средневековья. В Эмске, наоборот, люди покинули свои дома в городе и переехали в полуразрушенный замок, принадлежавший какому-то князю. Замок окружили колючей проволокой и поставили охрану. Поначалу даже не вполне было понятно: кто кого и от кого охраняет. Полицейские были местные, белорусские, немцы считали это ниже своего достоинства. А с белорусами отношения были понятно какие – им платили. Им за все платили. За деньги они приносили даже оружие.

– Твоя мать, – сказала Эстер, – была не из местных. Довольно красива, но очень резкая. С ней был маленький сын. Вспомнила ее фамилию – Ковач. Да?

Меня просто передернуло: я ненавижу эту фамилию. Я точно знаю, что у матери была другая фамилия, это какая-то партийная кличка или фамилия, написанная на одном из фальшивых документов, по которым она полжизни прожила. Да я и замуж вышла отчасти из-за того, что мне хотелось сбросить с себя эту кличку. Все были тогда в шоке: еврейка из Польши выходит за немца! Правда, Эрих тоже был коммунист, гэдээровский, – иначе его бы не пустили учиться в Россию. Мы и познакомились-то в России.

Я смотрела на Эстер, как ребенок на конфету: вот такую женщину, мягкую и тихую, элегантно по-европейски – шелковая блузка, туфли итальянские, но вместе с тем ничего напоказ, никакого американского простодушного шика – хорошо бы в матери, в тетушки, в бабушки. И обращается она ко мне «деточка»...

Без всякого с моей стороны нажима она мне рассказала следующее.

В гетто была сильная внутренняя организация, своя администрация и, кроме того, свой особый авторитет – знаменитый раввин Ширман, очень ученый и, как говорили, настоящий праведник. Сама Эстер и ее муж были польские евреи, оба врачи, переехали в тамошние края за несколько лет до войны. Исаак Гантман, ее муж, был хирург, а она зубной врач. То есть не вполне настоящий врач, но с хорошим специальным образованием – закончила стоматологическую школу во Франкфурте. Вольнодумцами они не были, так, нормальные евреи, могли зажечь субботние свечи, но могли и поехать в субботу в соседний город на концерт. Местные евреи считали их чужаками, но лечиться к ним ходили. Когда Германия аннексировала Польшу, Исаак сразу объявил жене, что всему конец, надо оттуда выбираться – куда угодно. Думал даже о Палестине. Но пока они размышляли и прикидывали, оказались под немцами, в гетто...

Мы сидели в салоне очень хорошей квартиры, обставленной по-европейски – старомодно и, на мой глаз, с большим вкусом. Культурный уровень хозяев был явно выше моего – я это всегда чувствую, потому что довольно редко встречаю. Богатый дом. Гравюры, а не постеры. Мебель не гарнитурная, а явно собранная поштучно, и на каком-то низком шкафчике – большое мексиканское чудо из керамики – древо мира или что-то в этом роде.

Сидела Эстер в глубоком кресле, подобрала под себя ноги, по-девичьи, сбросив обувь – синие туфли из змеиной кожи. Я все эти детали всегда про себя

отмечаю. Не зря моя мать считает меня мещанкой. Приют, детский дом – помню промерзшей спиной. А матери моей ужасающая нищета казалась нормальной жизнью. Может, она и в сталинских лагерях неплохо себя чувствовала. Но я, когда из сиротской бедности выбралась, каждую чашку, полотенце, чулок готова была целовать. Эрих в первый же год нашей жизни в Берлине, в Пренцлауберге, взял дополнительную работу – чтобы я могла покупать вещи: одежду, посуду, все-все-все... Он знал, что я так лечусь от прошлого... Постепенно эта страсть стала проходить. Но все равно даже здесь, в Америке, мое любимое развлечение – гараж-сейл, распродажи, барахолка... Гриша, теперешний мой муж, смотрит снисходительно: он сам из России, вырос среди голодных до всего людей... И сын мой Алекс, родившийся уже в Америке, тоже обожает покупать. Так что мы настоящие «консюмеристы». Кажется, Эстер все это понимает.

– Условия в гетто казались нам ужасными – просто мы еще не видели худшего. Тогда мы не знали о концлагерях, о масштабе этого великого смертоубийства, которое шло по всей Европе, – она улыбалась, говоря обо всем этом, и что-то было особое в выражении ее лица: отдаление, печаль и еще нечто неуловимое – мудрость, наверное. Да, мы говорили по-польски, а для меня это наслаждение.

– Сколько же вы прожили в гетто? – спросила я.

– Меньше года. С осени сорок первого. А вышли мы оттуда одиннадцатого августа сорок второго. А потом еще два года в Черной Пуще, в партизанском отряде. Прожили в землянках до самого освобождения. Семейный партизанский лагерь. Из трехсот к концу осталось в живых сто двадцать. Детей с нами было шесть человек. Еще двое детей родились в лесу. Ты и еще один мальчик, но тот умер. Но тех, что вышли из гетто, всех удалось сохранить до конца войны.

– Почему моя мать ушла из Черной Пущи? – Я задала вопрос, ответ на который знала со слов матери, но знала я также, что мать всегда врет. Нет, не врет. Просто я не могу поверить в то, что она говорит. Потому мне было важно знать, что скажет Эстер. Она же нормальная.

– Мы ее отговаривали. Я хорошо помню, как Исаак возмущался, что она рискует жизнью детей, покидая наше убежище. Она даже не отвечала. Вообще единственный человек, с которым она общалась в гетто, был Наум Баух, электромонтер.

Так я узнала фамилию моего отца. Мать никогда ее не называла. Значит, если бы она была нормальной женщиной, я была бы Эва Баух. Интересно.

- Расскажите, пожалуйста, про него, - попросила я Эстер.

- Я мало его знала. Кажется, он был недоучившийся инженер.

Она сидела неподвижно, спина прямая, просто аристократка. И никакой еврейской жестикуляции.

- Исаак говорил мне, что приглашал этого Бауха однажды в больницу, еще до войны, - починить какой-то прибор. В гетто он был в привилегированном положении. Как и Исаак, впрочем. Некоторые евреи имели работу в городе, у них были разрешения. Исаак вел прием в больнице. И Баух работал в городе.

В гетто твоя мать и Наум жили вместе. В какой-то каморке в левом крыле. Замок был полуразрушенный, мы стали его восстанавливать, когда нас туда загнали. В первое время даже покупали какие-то стройматериалы. Юденрат руководил. Все кончилось ужасно. Дело в том, что юденрат постоянно платил деньги белорусской полиции. Там был какой-то подлец, не помню его фамилии, местный начальник, он обещал, что акции - понимаешь, да? - не коснутся обитателей гетто, пока мы будем ему платить. В это время всех местных евреев, кто жил по деревням, стали уничтожать. Мы знали об этом. Юденрат до времени откупался. А тот негодяй, даже если в и хотел что-то сделать, все равно не смог бы. Просто тянул деньги. К тому времени денег ни у кого уже не было. Женщины отдавали обручальные кольца, последние украшения. Свое обручальное кольцо я тоже отдала. Деталей я не знаю, да они теперь и значения не имеют. Кое-кому казалось, что жизнь можно выкупить. Поэтому, когда был предложен побег, устроили нечто вроде общего собрания, и вышел раскол: половина была за побег, половина против. Те, кто был против, считали, что после побега на оставшихся обрушатся ужасные гонения... ты понимаешь, речь шла уже не о гонениях... А среди организаторов побега были отчаянные, настоящие бойцы, им хотелось воевать... Им помогали из города. Была связь с партизанами. Мы тогда не знали. На самом деле все организовал один еврей, молодой парнишка, Дитер его звали. Он работал в гестапо переводчиком. Как-то ему удавалось скрывать, что он еврей. Его потом схватили, но он тоже сумел сбежать. Однажды, уже под конец войны, он пришел в наш лагерь в Черную Пущу. Он воевал в русском партизанском отряде, и к нам его прислали с коровой. Партизаны то ли купили, то ли отбили корову, и они попросили одного из наших ребят, мясника, сделать

им колбасу. Дитер пригнал эту корову, наши его узнали, обрадовались, кто-то притащил самогон. Он сел на пенек и начал говорить о Христе. Наши только переглядывались: ничего не могло быть глупее в этот момент, чем говорить о Христе. Я думаю, он помешался немного. Представь себе, он к этому времени крестился, какие-то иконки всем показывал. Трудно было поверить, что именно он организовал побег. В начале сорок пятого, после освобождения, мы ехали с ним первым поездом в Польшу. Кто-то мне потом говорил, что он стал после войны ксендзом...

Но тогда, в гетто, в ночь перед побегом конфликт был такой острый, что даже драка возникла. Раввин Ширман, глубокий старик, сильно за восемьдесят, всех утихомирил. У него был рак простаты, его Исаак оперировал уже в замке. Ну, какая там операция, катетер ему поставил... Раввин влез на стул, и все замолчали, и он сказал, что он останется здесь, никуда не пойдет. У кого нет сил уходить, пусть остаются. А кто имеет силы для побега, пусть уходят. Исаак сказал – мы уйдем, и мы ушли. Твоя мать с сыном ушла, а Наум остался. Никто не знал, что она беременна. Знал только Исаак, потому что она незадолго приходила к нему, просила сделать аборт, а он отказал: срок был уже большой.

Эстер покачала аккуратной головкой:

– Видишь, он был прав: такая хорошая девочка родилась. И выжила...

Вид у Эстер был такой измученный, да и время позднее. Я ушла. Договорились встретиться. У меня странное чувство – я всегда очень хотела знать обо всех тогдашних обстоятельствах, о моем отце. А теперь я вдруг испугалась: я одинаково сильно хочу знать – и НЕ знать. Потому что столько лет я волоку на себе свое прошлое, и только последние годы, с Гришей, оно от меня оторвалось, и маленькая девочка Эва из польского приюта в Загорске и подросток из советского детского дома как будто уже не я, а кадры из давно виденного кино. И тут открывается возможность узнать, как все произошло на самом деле. Я все-таки не могу себе представить, что может заставить молодую женщину, мать двух детей, сдать их в приют... Мне все кажется, что есть там что-то, чего я не знаю.

2. Январь, 1986 г., Бостон.

Казалось, в моем возрасте новые люди уже не появляются. Во-первых, все сердечные вакансии растрочены на умерших. Во-вторых, здесь, в Америке, много доброкачественных людей, но их жизненный опыт – весьма ограниченный – делает их существами плоскими и несколько картонными. Кроме того, у меня есть еще и подозрение, что возраст сам по себе образует некую скорлупу, и собственные эмоциональные реакции слабеют. Смерть Исаака обнаружила также, до какой степени я от него зависела. Завишу. Я не страдаю от одиночества, но замечаю, что оно меня окутывает, как туман. Среди этих довольно печальных ощущений появилась неожиданно Эва. В ее появлении я ощутила нечто судьбоносное. Вот молодая женщина, которая могла бы быть моей дочерью. Хорошо было бы поговорить об этом с Исааком. Он умел всегда сказать что-то острое и даже для меня неожиданное – при полном нашем единомыслии. Что бы он сказал об этой девочке? Удивителен сам по себе факт нашей встречи. Еще более удивительно, что речь зашла о Черной Пуще. Мать ее, эта Ковач, была совершенное чудовище. Исаак считал, что она советская шпионка. Он всегда говорил, что евреи – одержимый народ: рьяных евреев, особенно хасидов с их шелковыми шляпами, нелепыми кафтанами, латаными и перештопанными чулками, и еврейских комиссаров, пламенных коммунистов и чекистов, относил к одному психическому типу.

Эва уже во вторую нашу встречу высказала нечто сходное о своей матери, хотя иным образом. Удивительно, что при этом никакой интеллектуальной утонченности, даже пристойного образования у нее нет. По-видимому, очень сильная натура, органически честная: ей хочется сказать правду себе самой и о себе самой. Она расспрашивает меня с жадностью, однажды засиделась до двух часов ночи, и, как потом выяснилось, муж заподозрил ее в измене или что-то в этом роде. Она третий раз замужем, последний муж – эмигрант из России, лет на десять ее моложе. Она говорит, что успешный математик.

В наших беседах мы все время оказываемся в той области, которая была так важна и существенна для Исаака. Он всегда иронизировал по тому поводу, что ни один талмудист на свете не размышлял столько о Господе Боге, сколько он, неверующий материалист.

По возрасту она могла бы быть нашей дочерью. И ведь мы были тогда в лесу, но родилась она не от нас, а от других родителей. Исаак говорил, что в XX веке

бездетность стала для евреев таким же даром небес, как многочадие в исторические времена... Он никогда не хотел детей. Может, потому, что они не получались у нас? В молодости я пролила немало слез из-за никчемности нашего брака, а он утешал меня: природа сделала нас избранниками, мы свободны от рабства деторождения. Он как будто предвидел, какое будущее ожидает нас.

Когда мы вышли из гетто и оказались в Черной Пуще, он сказал мне: ты бы хотела, Эстер, чтобы у нас было сейчас трое детей? И я честно ответила – нет. Мы покинули Европу после Нюрнбергского процесса – Исаак был в группе экспертов как врач, узник гетто и партизан. После участия в процессе мы получили возможность уехать в Палестину, за год до создания Израиля.

Эва задает столько вопросов, что я решила прочесть записи Исаака, которые он вел в те годы. Собственно, он писал книгу, но урывками, откладывал «на потом». Умер в семьдесят девять лет, во сне. Старость еще не наступила, он был крепок и энергичен и на пенсию выйти не успел. Книга так и осталась недописанной.

Эва спрашивает меня о своем отце, Баухе: «Может быть, в бумагах вашего мужа есть что-нибудь о моем отце? Вдруг у меня есть братья или сестры? Вы поймите, Эстер, я же приютский ребенок, я всю жизнь мечтала о семье!»

Бумаги Исаака в идеальном порядке, записи разобраны по годам. Мне немного страшно их раскрывать. Эва сказала, что готова мне помогать в разборе бумаг – послевоенные записи он вел по-польски, а с конца пятидесятых перешел на английский. Я отказалась – невозможно его записи отдать в чужие руки. Кстати, все события, относящиеся к сороковым годам, описаны были спустя много лет. Даже не в Израиле, а уже в Америке, то есть после 1956 года, когда его сюда пригласили на работу.

Еще одна вещь в рассказах Эвы меня поразила: в три месяца она вместе с братом попала в приют. Мать их тем временем участвовала в организации Гвардии Людовой, воевала, потом сидела в сталинских лагерях и освободилась в пятьдесят четвертом, когда Эве было одиннадцать-двенадцать. Брат ее Витек не дождал до возвращения матери. В то время Эва уже была маленькой католичкой.

Эва очень красива. По внешности она скорее принадлежит к типу сефардов: тяжелые черные волосы, лицо сухое, без излишеств, глаза очень восточные, но без всякой поволоки, а с огнем. Как у Исаака.

З. 1959-1983 гг., Бостон.

Из записей Исаака Гантмана

Всю жизнь меня занимает тема личной свободы. Она всегда представлялась мне высшим благом. Возможно, что за долгую жизнь мне удалось сделать несколько шагов в направлении свободы, но с чем мне определенно не удалось справиться, от чего я не смог освободиться, – это национальность. Я не смог перестать быть евреем. Еврейство навязчиво и авторитарно, проклятый горб и прекрасный дар, оно диктует логику и образ мыслей, сковывает и пеленает. Оно неотменимо, как пол. Еврейство ограничивает свободу. Я всегда хотел выйти за его пределы – выходил, шел куда угодно, по другим дорогам, десять, двадцать, тридцать лет, но обнаруживал в какой-то момент, что никуда не пришел.

Еврейство, вне всякого сомнения, шире, чем иудаизм. Двадцатый век знает целую плеяду еврейских ученых-атеистов, но в газовые камеры их вели вместе с их религиозными собратьями. Следовательно, для внешнего мира кровь оказалась более авторитетным аргументом. Как бы ни определяли себя сами евреи, в сущности, их определяют извне: еврей – тот, кого неевреи считают евреем. Поэтому крещеным евреям не давали скидки с общей цены: уничтожению подвергались и они. Мое участие в Нюрнбергском процессе было тяжелее, чем пребывание в гетто и в партизанах. Отсмотренные пленки, снятые немцами в концлагерях и союзниками после освобождения, подорвали мое европейское сознание: мне уже не хотелось оставаться среднеевропейцем, и мы уехали в Палестину. Мы уехали туда, чтобы быть евреями. Но для этого мне не хватило еврейской одержимости.

Война 48-го года не оставляла времени для размышлений, но когда она закончилась – временно! – я почувствовал, что пулевые и осколочные ранения, ампутации и послеожоговая пластика доводят меня до депрессии. Где резекция желудка, удаление камней из желчных протоков, банальная аппендэктомия и непроходимость кишечника, мирные болезни мирных времен? Я занялся

кардиохирургией.

Палестину трясло, сионистское государство превращалось в религиозный символ, евреи – в израильтян, арабы – в каком-то смысле – в евреев. Меня мутило от национальной идеи – в любом ее прочтении.

Что главное в еврейском самосознании? Целеустремленный, сам на себя направленный интеллектуализм. Агностик и атеист, попав в Израиль уже взрослым человеком, я сделал то, от чего бежал в ранней юности, когда отверг семейные традиции. Тогда этот отказ привел к разрыву с семьей. Отец не простил мне. Он проклял меня и мою медицину. Потом вся семья погибла в газовых печах.

Отец был бы очень доволен, узнав, что в зрелом возрасте я пожелал изучать тот предмет, который в течение двух тысячелетий изучали еврейские мальчики с пяти лет, – Тору. То, что в детстве вызывало скуку и отторжение, оказалось чрезвычайно интересным.

Почти сразу после приезда в Палестину я стал ходить в Иерусалимский университет на семинары профессора Нойгауза по еврейской истории. Это были очень увлекательные занятия. Нойгауз, блестящий ученый, рассматривал еврейскую историю не как фрагмент мировой истории, а как модель всего мирового исторического процесса. Несмотря на чуждость для меня этого подхода, сами по себе занятия были очень содержательны.

Я обнаружил, что учителю не меньше, чем суть учения, важна интеллектуальная подвижность учеников, умение ставить, выворачивать наизнанку или даже аннулировать сам вопрос. Тогда я понял, что ядро еврейского самосознания – полировка мозгов как содержание жизни, постоянная работа по развитию мышления. Именно она и дала в итоге Марксов, фрейдера и эйнштейнов. В отрыве от религиозной подпочвы мозги эти заработали еще интенсивнее и качественнее.

Действительно, мы можем рассматривать современную (имею в виду христианскую) историю как логическое (Нойгауз полагает, что метафизическое) продолжение идей иудаизма в европейском мире. Чрезвычайно интересно, как в этой точке встречаются идеи христианских и еврейских мудрецов. Кстати сказать, остро заточенные мозги хирургу нужны ничуть не меньше, чем

искусные руки.

Именно тогда, отчасти вследствие этих двухлетних занятий, я сделал важнейший профессиональный шаг – ушел в область торакальной хирургии, которая интересовала меня еще с довоенных времен. Сердце, кстати говоря, привлекало меня не только как объект медицинский... скорее в этом «чудесном орудии, созданном верховным художником», по выражению Леонардо да Винчи, мне виделась некая тайна. Тайна абсолютно непроницаемая, как происхождение мира и жизни... Действительно, трудно представить себе, каким образом этот небольших размеров орган, сформированный хотя и из относительно упругой, мышечной, но все же нежной и легкоранимой плоти, справляется со столь непростой задачей, перекачивая в течение многих лет миллионы литров крови, сообщая ей энергию, необходимую для поддержания жизни во всех мельчайших клеточках человеческого тела. В этом парадоксе и заключалась для меня та самая метафизическая сущность сердечной деятельности, о которой я говорю. Она означала, что сердце – это не насос, или не просто насос, подобный механической помпе, что его функция основана на неких высших, не чисто механических законах. Смутная моя догадка подтверждалась и тем обстоятельством, что я отчетливо видел в соотношениях сердечных структур и в закономерностях работы сердца золотую пропорцию. Кардиохирургия, таким образом, являлась для меня в значительной степени попыткой понять, объяснить эту тайну. Наблюдения за больным сердцем давали бесценный материал для понимания того, как нарушение этих божественных пропорций ведет к несостоятельности сердечной деятельности и, в конечном счете, к смерти. Я пришел к выводу, что прямое, хирургическое вмешательство в структуру и функцию сердца должно быть направлено на восстановление этой пропорции, на воссоздание некой «божественной кривизны», которая так характерна для здоровых сердечных структур и которая видна во всех без исключения творениях природы – завитках морских раковин и древних окаменелых моллюсков, в спиральной конструкции галактик. Ее можно видеть в работах архитекторов и художников – в кривизне старинных итальянских площадей, в композиции знаменитых картин. Впрочем, как сказал все тот же Леонардо, «чем больше ты будешь говорить о нем (сердце), тем больше будешь смущать ум слушателя».

Дела наши в Израиле сразу пошли очень хорошо. Я стал заведующим отделением кардиохирургии в прекрасной клинике. Эстер открыла частную стоматологическую практику. Дела шли хорошо. Мы купили дом в чудесной арабской деревне Эйн Карем, покинутой ее обитателями в 48-м году. Вид на Иудейские горы, который открывался оттуда, – великое счастье для глаз.

Однажды в отделение привезли молодого араба с ножевым ранением в область сердца. Его удалось спасти. Врач любит своих безнадежных, с того света вытащенных больных не меньше, чем они его. Мы подружились с пареньком. Оказалось, что его семья бежала из Эйн Карема, оставив дом и старый сад сразу же после начала Войны за Независимость. Я не сказал ему, что живу в Эйн Кареме. Не смог. Да и зачем?

Мы с Эстер поднялись в какой-то день в монастырь Сестер Сиона в Эйн Кареме, Иудейские горы лежали перед нами как стада спящих верблюдов.

Тогда еще была жива девятистолетняя настоятельница, помнившая основателя этого монастыря, Пьера Ратисбона, крещеного еврея из Франции. Она подошла к нам, пригласила с ней поужинать. Скромный ужин, приготовленный из овощей с монастырского огорода. Спросила, в каком доме мы живем. Сказала, что помнит его старых хозяев. И многих других. Правда, молодого человека, который попал ко мне на операционный стол, она не помнила, но хорошо знала его деда – он помогал с закладкой монастырского огорода... К этому времени мы уже перестроили старый дом, и это был наш с Эстер первый в жизни дом, и мы его очень любили. Мы вернулись в тот вечер домой, и Эстер заплакала. А жена моя не слезлива.

В юности я хотел быть не евреем, а европейцем, впоследствии, наоборот, – не европейцем, а евреем. В тот момент я захотел быть никем. И вот, после десяти лет в Израиле, когда подвернулось американское предложение, я сделал еще одну попытку расстаться если не с самим еврейством, то с еврейской почвой – переехал в Бостон. Тогда, в 1956 году, начинались операции на «сухом» сердце, это меня страшно интересовало, и у меня были кое-какие идеи.

Америка мне очень понравилась количеством свободы на квадратный метр. Но и здесь, в старом доме, построенном на английский манер, в самой свободной стране мы живем на земле, принадлежавшей когда-то вампаноагам или пекотам.

Впрочем, давно уже нет на земле места, где еврей может чувствовать себя дома в полном смысле этого слова.

Прошло много лет, и я понял, что так же далек от личной свободы, как в молодости. Теперь, как одержимый, я занимался не только повседневной

хирургической практикой, но и экспериментами, постоянно нарушая одну из семи заповедей Ноя, адресованных не только к евреям, но и ко всему человечеству: не проявлять жестокости по отношению к животным. Бедные мои приматы... Они не виноваты, что их кровеносная система так похожа на человеческую.

Может быть, эта самая способность «принадлежать идее» и есть определяющая черта еврейства?

Повышенная интенсивность. Я вспомнил удивительного юношу Дитера Штайна, организовавшего побег из Эм-ского гетто. Сначала он из идейных соображений пошел работать в гестапо – спасти людей из адских лап. Потом крестился – чтобы опять-таки спасти людей из адских лап. Последний раз я встретился с ним в разбитом поезде, который вез нас в Краков. Мы стояли ночью в тамбуре, и он говорил мне, что едет туда, чтобы поступать в монастырь.

Я не удержался и переспросил:

– Спасать людей?

На вид ему было лет семнадцать – тощий, малорослый еврейский подросток, – и как это немцы могли спутать его с поляком? Улыбка детская.

– Почти так, пан доктор. Вы меня спасли для того, чтобы я мог послужить Господу.

И тогда я вспомнил, что в свое время я поручился за него перед русскими партизанами. Память выталкивает все, с чем ей трудно справиться. А иначе как бы я мог жить, если бы помнил все те материалы, которые пришлось отсмотреть во время Нюрнбергского процесса.

4. Январь, 1946 г., Вроцлав.

Эфраим Цвик – Авиغدору Штайну

Авигдор! Знаешь ли ты, что я разыскал Дитера еще в августе 45-го года? Он жив! Но он сидит в монастыре! Когда я узнал, что Дитер ушел в монастырь, я ушам своим не поверил. Мы же были вместе в «Аквиве», были сионисты, готовились к переселению в Израиль – и на тебе! Монастырь! Нас не много осталось после войны в живых, ему повезло! Для того, чтобы уйти в монастырь? Как прошел слух, что он сидит в Кракове, я туда поехал. Я был уверен – и сейчас не вполне разуверился, – что его туда заманили какой-то хитростью. Скажу честно, я взял с собой на всякий случай оружие – у меня хороший трофейный «вальтер».

От Кракова еще километров двадцать, я нашел этот кармелитский монастырь.

Меня туда не пускают – сидит привратник, старый дед, и ни в какую. Я пригрозил ему пистолетом, он впустил, я прямым к настоятелю – там еще один пень сидит, вроде как приемная. Я опять вынимаю пистолет. Словом, выходит настоятель – старый, седой, здоровенный мужик. Заходите, пан, – приглашает меня в кабинет.

Я сажусь и кладу пистолет на стол: отдавайте, говорю, моего друга Дитера Штайна. Тот говорит: пожалуйста. Только уберите ваше оружие и подождите десять минут.

Действительно, через десять минут приходит Дитер. Никаких этих ряс на нем нет, просто рабочий халат, руки грязные. Мы обнялись, расцеловались.

Я, говорю, приехал тебя забрать. Поехали со мной. Он улыбается: нет, Эфраим, я решил здесь остаться.

– Ты с ума сошел, что ли? – я спрашиваю.

Вижу, настоятель сидит за своим огромным столом и улыбается. Меня такое зло взяло – вроде он надо мной смеется! С чего он так уверен, что я не заберу Дитера?

– Улыбаетесь? – закричал я. – Заманили себе хорошего парня и улыбаетесь? Вы обманывать мастера! Зачем он вам нужен, евреев вам не хватало?

А тот говорит: мы никого не держим, молодой человек. У нас нет насилия. Это вы пришли с пистолетом. Если ваш друг захочет с вами идти, пусть идет.

А Дитер стоит и улыбается, как дурак. Ну, ей-богу, как дурачок. Я и на него прикрикнул: иди, собирай свои манатки и пошли!

Он головой качает. И тут я понял, что они его чем-то опоили или околдовали.

– Пошли! – я ему говорю. – Тут тебя никто не держит! Здесь не место для еврея!

Авигдор, и тут я вижу, что они между собой переглядываются – настоятель с Дитером. Вроде это я сумасшедший. В общем, что я могу тебе сказать – я прожил там три дня. Дитер, конечно, сумасшедший, но не в том смысле, как мы это обычно понимаем. У него что-то сместилось в голове. По поведению он совершенно нормальный – травы не ест, но в голове у него – чистое безумие, именно на божественной почве. Такой был нормальный парень, и товарищ, и умница, и вообще ничего про него нельзя сказать плохого, всегда всем готов помочь, и своим, и чужим, и главное – выжил! И на тебе!

Через три дня мы расстались. Дитер сказал мне, что решил остаток жизни посвятить служению Господу. Но почему же ИХ Господу? У нас что, своего Бога нет? Так я и не смог его убедить, что служить Господу можно где угодно, не обязательно в католическом монастыре. Нам двадцать три года – мы одногодки. Можно стать врачом, учителем, да мало ли каким образом можно служить?

В общем, Авигдор, жалко парня. Приезжай, может, он тебя послушает? Привези ему там фотографии из Палестины, не знаю что, может, уговоришь его? В конце концов, если он так любит еврейский народ, зачем он его покидает ради чужих?

Я пока осел во Вроцлаве, не знаю, как дальше дело пойдет, но пока я оставил мысль о переезде в Палестину. Я хочу строить новую Польшу. Такая разруха и бедность, и с этим надо бороться и поднимать страну. Привет тебе и твоей жене.
Твой Эфраим Цвик.

5. 1959 гг., Неаполь. Порт Мерджеллина.

От Даниэля Штайна – Владиславу Клеху

...никакого посоха, одна сума. Восемь дней я прожил в монастырском общежитии. В четыре со всеми вставал на молитву, потом с братией в трапезную. После завтрака эконоом давал мне задания, я их исполнял по разумению. Жил так неделю, все ждали епископа, и я ждал: мне были обещаны деньги на дорогу в Хайфу. Денег у меня совсем не было. Однажды утром эконоом говорит мне: ты съезди на экскурсию в Помпеи. Я сел на автобусной станции в рейсовый автобус и поехал. Дорога для глаз почти невыносимая по красоте: Неаполитанский залив, Капри – все сверкает. Бедная наша Польша – ни теплого моря, ни солнца ей не досталось. Здесь роскошь растительная и рыбная. На рыбном рынке тоже испытываешь такую радость и восхищение от красоты рыб и всякой морской твари. Правда, и страшные тоже есть, но больше диковинные.

В Помпеях ожидала меня сначала неудача – в раскопанный город не пускают, музей закрыт, у служащих забастовка. Ну, думаю, чудесная страна Италия. Посмотрел бы я, как устроили забастовку в Краковском Вавеле! Таким образом, в античный город я не попал. Однако хожу, смотрю на окрестности разрушенного города, на Везувий – гора таких нежных очертаний, никакого не вызывает страха, и нельзя его заподозрить в том коварстве, которое он две тысячи лет тому назад проявил. Денег у меня – на обратный билет и на пиццу бьянку, то есть на кусок хлеба. Иду по современному городу и вижу храм. Новой постройки, ничего особенного, архитектурного. Жара к полудню сильнейшая, думаю, найду внутри, в прохладе отдохну. Церковь Санта Мария Дель Розарио.

Ах, Владек, и начинается история, как будто специально для меня придуманная, – в церкви я вижу коллекцию «эксвото». Это засвидетельствованная благодарность тех, над кем свершилось чудо по молитве, обращенной к Божьей Матери. Обычно, как мы знаем, это серебряные изображения ручек, ножек, ушей – тех органов, которые были исцелены. Здесь никаких ручек-ножек нет, а висят картинки детей и их родителей, на которых эти чудеса изображены руками неумелыми и благодарными. Нарисован пожар, из которого вытаскивают ребенка, – нарисован ребенком, и его отцом, и пожарником. Три картинки. Какой-то солдат Первой мировой войны, давший обет, если вернется живым, жениться на сироте, – и вся история нарисована: вот солдат на войне среди пламени молится, вот он пришел домой, и настоятельница монастыря выводит ему девушку. Потом эта девушка заболевает и собирается умереть, и бывший солдат молит Божью Матерь об ее исцелении, и вот они втроем нарисованы их пятилетним сыном... Какой-то

шофер, спасшийся на горном перевале во время аварии, принес в дар Божьей Матери свои водительские права, а кто-то дарит военные награды. Столько милости и столько благодарности!

Но это не все – вышла монахиня, рассказала, что это прославленное место существует благодаря стараниям одного стряпчего по имени Бартоло Лонго. Он был из бедных, но получил образование и вел дела одной богатой неаполитанской вдовы. У Бартоло было видение – Божья Матерь велела ему построить здесь церковь. Он сказал ей, что он беден, и тогда Дева спросила у него, есть ли у него одна лира. Одна лира у него была. И тогда она сказала, что это будет церковь бедных, он должен собирать на эту церковь по одной лире. С бедных, с богатых, все равно – по одной лире. Он начал собирать, но все не хватало, и тогда вдова, на которую он работал, доложила недостающие деньги. Вскоре они поженились и основали здесь дом для сирот – откуда и получил свою невесту благодарный солдат. А потом они еще открыли богадельню. И большие благодатные силы явились здесь – многие исцелялись от болезней, получали разные милости. Сейчас Бартоло Лонго объявлен «службой Господа». Это первая ступень прославления.

Когда я вышел из церкви, в небе гроыхнуло, и началась сильнейшая гроза. Гроыхание и сверкание были такими мощными, и все это шло со стороны Везувия, так что пришла мне в голову мысль, что это Везувий напоминает о себе, древнем...

Вернулся я в Неаполь, а наутро приехал епископ и дал мне денег на дорогу. Я пошел в порт и купил билет на корабль. Он отплывет в Хайфу через три часа. Вот я сижу и пишу тебе письмо – помнишь, ты меня удерживал, считал, что надо там сидеть, куда тебя поставили. Может, ты и прав, но у меня уверенность, что мое место именно в Израиле, и доказательство тому – с первой минуты путешествия мне все благоприятствует. Всегда есть ощущение, идешь ты поперек промысла или по призыву. Бог с тобой, Владек. Отцу Казимежу поклон. Приеду, напишу.

Даниэль.

6. 1959 г., Неаполь.

Авигдору Штайну от Даниэля Штайна

ТЕЛЕГРАММА

ВСТРЕЧАЙ 12 ИЮЛЯ В ХАЙФСКОМ ПОРТУ ТЧК ДАНИЭЛЬ

7.

Туристический проспект «Посетите Хайфу»

Город Хайфа широко раскинулся по склонам знаменитой библейской горы Кармель и у ее подножия. Хайфа, в сравнении с другими поселениями страны, молодой город, она основана в римскую эпоху. В XI веке, в эпоху крестоносцев, Хайфа пережила недолгий расцвет, а в конце XIX века представляла собой небольшую арабскую деревушку. В свое время Хайфа была центром нелегальной иммиграции, большинство еврейских репатриантов начала XX века прибывало в Палестину через ее морской порт.

Украшение хайфского пейзажа – гора Кармель. Это горный массив длиной в 25 километров. Высшая точка Кармельской гряды достигает 546 метров. Местные почвы очень плодородны, в древности склоны были покрыты виноградниками и садами.

В глубокой древности местное языческое население считало Кармель обителью Ваала, и на вершине обнаружены следы языческого культа. Здесь же финикийцы поклонялись местному божеству Хададу. Римский император Веспасиан приносил на этой горе жертву Юпитеру, здесь находился алтарь и храм Зевса Кармельского.

Кармель почитается верующими трех монотеистических религий. Эта гора считается местом жизни Ильи-пророка. Показывают несколько пещер, в которых скрывался пророк. Отсюда же, по преданию, он вознесся на небо.

Кармель – место древних монастырей. Считают, что первые монастыри основали здесь еще в дохристианские времена предшественники христианских отшельников – еврейские назореи.

С торжеством христианства здесь возникла целая сеть монастырей. Крестоносцы обнаружили здесь византийские монастыри в 1150 году, и они существовали задолго до этого времени.

Сейчас самым крупным и известным монастырем является католический монастырь Ордена босых кармелитов. Монастырь этого Ордена существует на горе с XIII века. Его много раз разрушали и восстанавливали. В настоящем виде монастырь существует с начала XIX века. Он стоит на юго-западной стороне горы на высоте 230 метров.

Недалеко от монастыря находится здание с маяком. Над входом – статуя Мадонны. Это сооружение называется «Стелла Марис» – путеводная звезда моряков.

Спускаясь с горы вниз от станции метро «Ган а-Эм», мы попадаем к одной из главных достопримечательностей Хайфы – Бахайскому храму, находящемуся на территории так называемых «Персидских Садов». Этот храм является мировым центром бахайской религии. Основатель и пророк бахаизма Эль-Бах (Сайид Али-Мухаммад Ширази) был признан вероотступником и казнен властями Ирана в 1850 году. Останки пророка покоятся в храме Бахай. Число последователей бахаизма в настоящее время в мире – несколько сот тысяч человек.

Бахаисты считают, что их религия впитала в себя все лучшее из иудаизма, ислама и христианства. Суть учения выражается словами «Земля есть одна страна, и все люди – граждане этой страны». Представляют интерес некоторые из основных заповедей бахаизма: единый Бог, единая религия, единство человечества, неуклонное правдоискательство, гармония между наукой и религией, отказ от предубеждений, догм и суеверий.

Хайфа – второй по промышленному значению после Тель-Авива город Израиля.

Хайфский порт – главный порт страны. Постройка порта началась в 1929 году, закончилась в 1933-м. Имеется крупный судостроительный завод. Кроме того, с расширением сети железных дорог во времена британского мандата Хайфа

превратилась в узловой центр железнодорожных путей Палестины.

В Хайфе функционирует единственная в стране линия метрополитена, открытая в 1959 году. На линии всего шесть станций – от подножия горы Кармель до конечной станции «Ган а-Эм» – «Сад Матери», уже на самом массиве Центрального Кармеля. Рядом со станцией метро прекрасный парк, в котором находится местный зоопарк и музей Истории Древнего мира.

В городе имеется самый старый в стране политехнический институт, называемый Технион, основанный в 1912 году.

Город располагает историческими и художественными музеями. Городской музей Хайфы имеет три отдела – древнего искусства, этнографии и современного искусства. Можно также посетить Музей музыки, Музей нелегальной иммиграции и Морской музей.

На мысе Кармель располагаются археологические раскопки «Тель-Шикмона» (Холм сикомор). На месте раскопок обнаружены остатки зданий и сооружений со времен царя Соломона до периода селевкидов (II век до нашей эры).

Туда можно добраться и городскими автобусами №43, 44 и 47.

Для осмотра города можно заказать туристическую экскурсию с опытными гидами, владеющими многими языками.

8. 1996 г., Галилея, мошав «Ноф А-Галиль».

Из разговора Эвы Манукян и Авигодора Штайна (Аудиозапись, расшифрованная Эвой после ее визита в семью Авигодора и Милки Штайн)

ПЕРВАЯ КАССЕТА

АВИГДОР. Пожалуйста, включай свой магнитофон! Но я ничего такого особенного не скажу!

ЭВА. У меня память плохая, и я боюсь забыть что-то важное. Когда в Эмске я разговаривала с Даниэлем, я потом приходила в гостиницу и все в тетрадку записывала – чтоб ни одного слова не потерять.

АВИГДОР. Ну, за моим братом, может, и стоило записывать. А за мной-то что? Между прочим, он, когда приехал из Белоруссии, о тебе рассказывал. Девочка, которую положили в рукав шубы! Так что ты хотела у меня узнать?

ЭВА. Все. Откуда вы родом, из какой семьи, как жили до войны... И почему он был такой...

АВИГДОР. И ты ехала из Америки, чтобы спросить меня о нашей семье? Конечно, расскажу. А вот почему он был такой, какой он был, я тебе не скажу. Я сам об этом много думал. Он с детства чем-то отличался от других. Раньше я думал, что он был такой особенный, потому что всегда говорил «да». Когда его о чем-нибудь просили, чего-то хотели, он всегда был готов сказать – «да». Потом, когда мы встретились заново здесь, я увидел, что иногда он умеет говорить «нет». Так что не в этом дело. Честно скажу, я так и не понял. Он в нашей семье такой был один. А семья – самая обыкновенная, жила в Южной Польше, это кусок земли, который переходил из рук в руки и принадлежал Австро-Венгрии, Польше, когда-то входил в Галицкое княжество. Мы с братом родились в захудалой деревне с польско-еврейским населением.

Наш отец, Элиас Штайн, был евреем военизированного образца, какие возможны были только в Австро-Венгрии. Хотя он исповедовал иудаизм, ходил в синагогу и общался со своими единоверцами, он ценил светское образование, которого сам не получил, свободно владел немецким языком, и культура в его глазах ассоциировалась именно с культурой немецкой. Он был солдатом, и это ему нравилось. Восемь лет он прослужил в австро-венгерской армии, начал службу солдатом, закончил в младшем офицерском чине, и годы, что провел на военной службе, считал лучшими в своей жизни. Свою последнюю форму – унтер-офицерскую – он хранил в шкафу как реликвию и взял с собой в тот день, второго сентября 39-го года, когда все мы оказались в толпе беженцев, пытавшихся уйти из-под немецкой оккупации.

Поженились родители в 1914 году, еще перед Первой мировой войной, во время некоторого перерыва в военной службе отца. Мать была его дальняя родственница. Такие родственные браки по сватовству были приняты в еврейской среде. Мать была девушка образованная – успела поучиться в школе для чиновников.

Брак их был поздний. Теперь, когда ушло столько времени, я думаю, что они любили друг друга, но уж очень они были несхожи по характеру. Мать была на два года старше отца, ей было уже тридцать, то есть старая дева – по обычаям того времени и тех мест девиц выдавали замуж обыкновенно не позднее шестнадцати. За матерью было приданое, в наследство от тети ей достался дом с корчмой. Еще до замужества у нее было свое дело. Доход, правда, это дело приносило ничтожный, а работа была тяжелая – мать едва сводила концы с концами, но всю жизнь у нее сохранялась какая-то смешная иллюзия значительности своего состояния: большинство окружающих было еще беднее. Выходя замуж, мать рассчитывала, что муж займется корчмой. Тогда она еще не знала, что выбрала себе в мужа очень непрактичного человека.

Работа в корчме отцу не нравилась, он тянулся к людям образованным, умным, а здесь все общение – пьяные польские крестьяне. Но он не долго торговал водкой – началась Первая мировая война, и он пошел воевать. Мать вернулась к торговле, отец – к пушкам. Сохранилась его фотография тех лет – brave солдат с усами, в нарядной военной форме. Смотрит гордо. К 1918 году все поменялось: война проиграна, а родная деревня отошла к Польше. Из культурной немецкоязычной Австрии все как будто переехали в бедную и отсталую Польшу. Отец до конца жизни держался немецкой ориентации. С польского он всегда охотно переходил на немецкий. На идише, основном языке польского еврейства, в доме почти не говорили. В 1922 году родился мой старший брат. Он был поздний ребенок, но не последний. Спустя два года родился я. Нас называли традиционными еврейскими именами – Даниэль и Авигдор, но в документах стояли благородные арийские имена – Дитер и Вильфрид. Это имена нашего детства, так нас звали в школе. Брат вернулся к своему древнему имени, когда стал монахом, а я – приехав в Палестину.

Жизнь у семьи была очень трудная. Мать постоянно крутилась по хозяйству и в корчме. Потом отец купил лавку – корчма ему была не по душе. Эта лавочка оказалась первой в ряду его коммерческих неудач. Все начинания проваливались, но первые годы мать, вероятно, еще питала какие-то иллюзии относительно деловых способностей мужа. Потом стало ясно, что единственное,

в чем он преуспевал, были долги. В те годы мы отца обожали и проводили с ним много времени. У него было военно-романтическое прошлое, он постоянно рассказывал о службе в армии. Это была одна из лучших ролей его жизни – солдатская. Воевал он когда-то в австрийской армии, но именно немецкая военная машина представлялась ему верхом совершенства, и он держал перед нами, малышами, восторженные речи о Бисмарке и о Клаузевице. Он так и не увидел сокрушительного краха немецкого милитаризма, поскольку был перемолот этим совершенным механизмом вместе с шестью миллионами своих единоверцев. Кажется, он так и не успел расстаться с последней иллюзией – о превосходстве немецкой культуры в мире. Он читал Гете и обожал Моцарта.

Теперь, когда я сам давно уже перешагнул тот возраст, в котором родители погибли в концлагерях, я гораздо лучше понимаю их трогательные и нервные отношения. Отец принадлежал к тому типу, который Шолом-Алейхем определил как «человек воздуха». Сотни идей роились у него в голове, но ни одно из его начинаний не приносило успеха. Он строил воздушные замки, которые один за другим рушились, и он при этом впадал в истерику, малодушничал.

У матери был твердый характер, и между родителями постоянно возникали конфликты. Отец требовал, чтобы она его выручала, одалживая деньги у более богатых соседей или у ее сестер. Они действительно иногда помогали ему выпутаться из сложных положений. Родители часто ссорились, но при всем при том они были дружной парой, их бурные ссоры сменялись примирениями, и, думаю, мать жалела отца. Мы так ничего не узнали о том, как закончили они свою жизнь. В лагере смерти. Это определено.

ЭВА. Когда вы расстались с родителями?

АВИГДОР. Третьего сентября 1939 года. Мы расстались на дороге, забитой толпами беженцев. Все предчувствовали, что это расставание навсегда. Дитеру было семнадцать, а мне пятнадцать. И нам тоже предстояло расставание – почти на двадцать лет.

Старшего брата я обожал: никогда не было у нас ни тени соперничества. Может быть, потому, что он всегда относился ко мне как старший к младшему: играл со мной, заботился, оберегал. Хотя разница в возрасте между нами около двух лет, в школу нас отдали одновременно. Да и что это была за школа – польская, для крестьянских детей. В одном помещении сидели ребяташки всех возрастов. Уровень образования был более чем скромным, но чтению и письму учили.

Религиозного воспитания мы не получали – хедера в то время в деревне уже не было: во всей округе насчитывалось не более двух десятков еврейских семей. Детей было мало. Но еще оставались еврейское кладбище и синагога. Теперь, я знаю, ничего этого нет.

ЭВА. Вы туда ездили?

АВИГДОР. А что мне там делать? Даже могил нет. Детство – оно и есть детство: речка, лес, игры. Жизнь взрослых была очень тяжелая – послевоенный кризис.

ЭВА. А что вы помните из тех лет?

АВИГДОР. Время переселений. Тогда все – и поляки, и евреи – переселялись в города. Деревни пусты. Началась большая еврейская эмиграция: более прагматичные уезжали в Америку, другие, увлеченные сионизмом, в Палестину. Но нашей семье это почти и не касалось: мать держалась за свою корчму, как будто это был родовой дворец.

У матери были две великие идеи – сохранить свою собственность, корчму, и дать нам образование. К тому же было видно, что у Дитера большие способности. Они очень рано проявились. В детстве мы были очень похожи, совсем как близнецы, но брат отличался от меня большими талантами. Мне никогда не казалось это обидным, тем более что и у меня было свое небольшое дарование – хорошие руки, и мне гораздо лучше удавалась всякая работа – и по дереву, и по железу. Видишь, и здесь, в Израиле, хотя высшего образования не получил, я всегда заведовал всей сельскохозяйственной техникой. И до сих пор, когда что-нибудь ломается, бегут ко мне. Несмотря на то, что я уже пенсионер. Но я здесь все знаю, я в этом мошаве с первого дня.

ЭВА. Мошав – то же самое, что киббуц?

АВИГДОР. Мошав – это объединение собственников земельных участков, а в киббуце – полный социализм, все обобществлено, как было в советских колхозах. Не перебивай, я забыл, на чем остановился... Да, про Дитера... Хотя мы здесь давно уже забыли его немецкое имя – Даниэль и Даниэль... В общем, когда ему исполнилось семь лет, его забрала к себе тетка в соседний городок, чтобы он мог ходить в хорошую еврейскую школу.

Школа эта была исключительной – в Восточной Польше ничего подобного не существовало. Это был последний образец австро-венгерского педагогического учреждения. Во-первых, школа была светского, а не религиозного характера, во-вторых, преподавание велось на немецком языке. Собственно говоря, еврейской она считалась по той причине, что содержалась эта школа евреями и большинство преподавателей были евреями.

В те времена было исключительно важным, на каком языке велось преподавание. Немецкое образование ценилось выше польского, не говоря уже о языках идиш или древнееврейском, на которых преподавали в еврейских школах. Несмотря на свои выдающиеся лингвистические способности, Даниэль плохо знал идиш. Видимо, судьба позаботилась... Дело в том, что в его речи абсолютно не было еврейского акцента. Когда же он говорил на иностранных языках, акцент был явственно польским. Даже на иврите, которым он овладел очень быстро, и прекрасно говорил, и читал такие книги, которые я и в руки взять не могу, даже название не смогу прочитать, он говорил с польским акцентом. Не веришь – но я говорю лучше. Без акцента.

За четыре года брат окончил начальную школу. Домой его привозили только на лето, зимой он не так уж часто приезжал. Железной дороги тогда не было, сорок верст пешком не пойдешь, а лошади – то отец куда-то уезжал по делам, то отдавал лошадей напарнику. Отец тогда пытался торговать лесом или что-то такое... что тоже не получалось. Когда брат летом приезжал домой, это был для меня праздник. Он так много мне рассказывал. Иногда мне кажется, что нехватки моего образования в какой-то степени восполнялись именно этими беседами. Он умел о сложных вещах говорить очень просто и понятно.

Потом ему опять повезло со школой: его приняли в Государственную школу Йозефа Пилсудского. Она считалась лучшей в городе. Еврейских детей туда принимали. Преподавание велось на польском языке, католики и евреи разделялись только для проведения уроков по религиозным дисциплинам.

МИЛКА. Может быть, вы сделаете перерыв, и я подам обед? У меня уже все готово.

АВИГДОР. Да, хорошо. Тебе помочь?

МИЛКА. Не надо мне помогать, просто пересядьте, чтобы я могла постелить скатерть.

ВТОРАЯ КАССЕТА

ЭВА. О-о, еврейская еда! Бульон с кнейдлех! Шейка!

МИЛКА. А что, в Америке евреи тоже такую еду едят?

ЭВА. Ну, только в некоторых семьях. У меня есть старшая подруга, она готовит. Я вообще не люблю стряпать.

АВИГДОР. Как, ты совсем не готовишь?

ЭВА. Практически нет. У меня муж армянин, он всегда любил стряпать и, когда зовем гостей, он и сейчас сам готовит всякую армянскую еду.

АВИГДОР. Ну, армянская еда – это совсем другое дело, это вроде арабской кухни.

МИЛКА. Кушайте, кушайте!

ЭВА. Нет, уверяю вас, нет. У них есть турецкие блюда, это правда. Но кухня гораздо более изысканная. Очень вкусная. Но в этой еврейской еде как будто запах дома. Это генетическая память. Я росла в приютах и в детстве никто меня бульонами не кормил...

АВИГДОР. На чем мы остановились?

ЭВА. Вы начали рассказывать о школе Пилсудского. Но мне бы хотелось еще узнать об этой организации «Акива», в которую вы ходили.

АВИГДОР. Эва, обо всем в свое время. Там, в школе, он научился еще... это тебе должно быть интересно, потому что потом Даниэлю это умение очень пригодилось. Вот слушай...

* * *

Евреи в школе были, конечно, в меньшинстве, но брату моему повезло, потому что он учился в одном классе с нашим кузеном. Отношение к евреям в классе было вполне нормальным. Возможно, что это мое личное заблуждение, но мне всегда казалось, что антисемитизм находится в обратной зависимости от культурного и интеллектуального уровня. В группе, где учился брат, были дети из самых культурных польских семей города. Так или иначе, ни ему, ни его двоюродному брату не приходилось драться, защищая свое достоинство. Даниэль вообще не дрался – это было не в его характере. Честно говоря, я тоже не особенно замечал проявления антисемитизма, хотя я-то учился в профессиональной школе, вроде ремесленного училища, и там ребята были попроще.

Думаю, в первый раз Даниэль столкнулся с антисемитизмом, когда его не приняли в группу скаутов. Он тогда очень переживал. Я до сих пор не знаю, это были такие общие правила в скаутской организации или просто руководитель не захотел принимать еврейского мальчика, но Даниэлю отказали. Это был удар. Вообще-то у него было много приятелей среди поляков. Не могу сказать, чтобы особенно близкие.

Зато один его польский приятель, сын польского офицера-кавалериста, сам того не ведая, сослужил ему хорошую службу. Это как раз та история, которую я хотел рассказать. Отец этого паренька – фамилию его я забыл – был полковник польской армии, он держал манеж, и в этом манеже Даниэль вместе со своими одноклассниками дважды в неделю занимался верховой ездой. Занятие это, сугубо не еврейское, чрезвычайно нравилось Даниэлю, и он несколько лет практиковался в этом аристократическом спорте. Он стал хорошим наездником, и потом, через несколько лет, это умение, может быть, спасло ему жизнь.

Летом, перед последним классом, Даниэль вернулся домой на каникулы, и в тот год мы особенно сблизились. Разница в возрасте совсем перестала ощущаться. У нас появились новые общие интересы, а в семейных разговорах возникла новая тема – Палестина. Мы вступили в «Акиву», молодежную сионистскую организацию, почти каждый вечер ходили в кружок. Все было почти как у скаутов: тот же спорт, походы, ночевки на природе, воспитание выносливости, верности. Но разница была в том, что «Акива» была еврейская организация – и политическая, и общеобразовательная. Нас обучали ивриту, еврейской истории и

традиции. Сионизм в «Акиве» был нерелигиозным: иудаизм их не интересовал. Нам предлагали еврейскую традицию, то есть образ жизни и принципы нравственного поведения, а в качестве философской базы – альтруизм, пацифизм и терпимость, презрение к наживе: вещи незамысловатые, но очень привлекательные. Это стало для нас философией жизни. Во всяком случае, ни шовинизма, ни антикоммунизма в «Акиве» не было. В сионизме присутствовала сильная социалистическая тенденция, она и по сей день в Израиле чувствуется. Я не случайно оказался в мошаве, мне нравилась эта идея – еврей, который осваивает землю и живет плодами своих рук. Я здесь живу с моего переселения в Израиль, с 1941 года. Сейчас молодежь сюда не затащишь. Мои дети и слышать не хотели, чтобы остаться жить здесь. Как подрастали – таки уезжали. А младший – сын Алон – тот вообще в шестнадцать лет ушел из дому.

«Акива» стала для нас вторым домом. Мы с братом уходили утром, возвращались вечером. Мы переживали новое чувство – мы стали частью группы, объединенной общими ценностями. Наверное, наши религиозные сверстники испытывали единение с другими через богослужение, но нас это не коснулось. Хотя в положенном возрасте, в тринадцать лет, мы проходили бар-мицву, – ты хоть знаешь, что это такое? – экзамен и праздник совершеннолетия. Но это не произвело ни на меня, ни на брата большого впечатления. Просто так было принято. Мать хотела, чтобы мы не выходили из традиции.

Занятия в «Акиве» расширили культурный кругозор. Теперь уже представления родителей о жизни казались нам провинциальными – у них были только заботы о хлебе насущном. Носителями высших ценностей казались нам наши учителя.

Мы с братом мечтали о переселении в Палестину, а у родителей эта идея не вызывала особого энтузиазма. Они чувствовали себя уже по возрасту непригодными для такого героического деяния, как освоение новых земель. Да мы и сами понимали, что родители слишком стары для таких перемен, а оставлять их одних, без поддержки на старости лет, мы не хотели. Кроме того, не было денег. В те времена британские власти разрешали еврейскую иммиграцию в рамках годовой квоты, но требовали от въезжающих в подмандатную территорию денежного залога. Молодежь до восемнадцати лет получала сертификат бесплатно, так что для нас с братом двери были открыты.

В 1938 году возник такой проект, что один из нас уедет, другой останется с родителями. Среди разных вариантов отъезда обсуждалось поступление Даниэля в Иерусалимский университет. Принимая во внимание его

замечательные успехи, мысль была неплохая. Но тоже требовала финансовых вложений. Хотя сертификаты для молодежи до 18 лет были бесплатными, но дорого стоил билет, надо было платить и за обучение. Вдобавок у брата впереди был еще целый год учебы, а лет ему было уже семнадцать. Тогда сестры матери решили поддержать племянника и собрать необходимые деньги – родственная шапка была пущена по кругу. Тем временем ему пришлось поднапрячься, сдать выпускные экзамены экстерном. Свой аттестат зрелости он получил на год раньше одноклассников.

И вот закончилась одна жизнь и началась другая. Но совсем не та, о которой все мечтали. Наступило первое сентября 1939 года – Германия начала оккупацию Польши.

* * *

МИЛКА. А вы не можете одновременно есть и разговаривать?

АВИГДОР. А я уже съел!

МИЛКА. Ты-то съел, а у Эвы полная тарелка!

ЭВА. Расскажите, как вы встретились после стольких лет. Сколько лет вы не виделись?

АВИГДОР. Восемнадцать лет, с сорок первого по пятьдесят девятый. Встретились? Да, встретились... Я был в порту с самого утра. Специально я поехал один. Милка тогда должна была вот-вот родить Ноэми, Шуламита совсем маленькая. Рут просилась его встречать, но я ей велел смотреть за мамой. Она старшая, ей было восемь. Но мне хотелось, чтобы наша первая встреча была вот такая – с глазу на глаз. Честно говоря, я не был в себе уверен – вдруг заплачу? Мы уже давно переписывались, с 46-го года, и многое рассказали друг другу в письмах. Брат тогда даже не знал, что родители погибли еще в 43-м. Мне многое было странно: почему он, приехав в Польшу, не начал сразу их разыскивать? Не понимаю. Он, конечно, считал, что их нет в живых, а если и выжили, то будут его отговаривать от этого его католичества. А у него было принятое решение. И он даже не попытался их искать. Станный ход мыслей. Он и меня стал разыскивать только через год. Наш приятель тогда уже разузнал, где он

находится, пытался его оттуда забрать. Ничего не получилось. А потом? Я не ехал в Польшу. Не хотел. А он просто не мог приехать в Израиль погостить. Монахом быть – хуже солдата. У солдат хоть отпуск или срок службы. А что касается Даниэля, не было у него никакого срока службы. Бежал, бежал со своим крестом... Даже вспоминать не хочу. Потом покажу кладбище, это особая история.

В общем, я стою и жду парохода. Встречающих не так много, в те времена евреи уже на самолете прилетали. Редко кто морем.

Пароход подплыл – из Неаполя. А я уже вижу, что среди встречающих один стоит в сутане, – я сразу догадался, что это брата встречают. Наконец мостик кинули, и пошел народ – туристы, конечно. Я его все не вижу. Потом появляется – брат мой! В сутане. С крестом. Я ведь ничего другого не ждал, я ведь уже тринадцать лет знал, что он монах. Но все равно – не верю.

Брат меня не сразу заметил. Ищет в толпе встречающих – к нему идет уже тот монах. Тут я бегом – к брату, чтобы опередить. Он подошел к этому, что его встречал, что-то они там поговорили, и, вижу, брат ко мне оборачивается.

– Я у тебя на эту ночь останусь переночевать, а утром поеду в монастырь... – говорит.

Обнялись мы – о, кровь моя! Запах родной, все тот же запах человека. Он с бородкой – таким я его не видел! Ему девятнадцать лет было, когда мы расстались, а тут – взрослый мужчина. И еще мне показалось, что он такой красивый стал. Ну что ты смеешься, Эва? Я, конечно, заплакал. Думаю, хорошо, что жену не взял. Дурак, я думаю, какой я дурак! Пусть будет хоть священник, хоть черт – чего я к нему цепляюсь? Главное, живы остались!

Мы сели в машину и поехали. Он читает все указатели и каждый раз стонет. Доехали до развилки, там одна стрелка на Акко, а другая на Мегидо. Он мне говорит: – Боже, куда я попал? До Армагеддона – 35 километров. Ты понимаешь? – Я отвечаю: – Дитер, я очень даже хорошо понимаю, там живет Милкина подруга, мы туда в гости ездим.

А он смеется: – Мегидо! Ни на одном языке мира это ничего не значит. Только на иврите! Он мне говорит: поехали туда! Но тут уж я пришел в себя, стал

возражать: нет, говорю, тебя вся семья дома ждет, Милка уже два дня из кухни не выходит. Он вдруг замер, говорит: – Ты не понимаешь, что ты сейчас сказал... Ты сказал, что меня семья ждет... Я никогда не думал, что у меня может быть семья.

Я говорю: а кто же мы тебе? Другой-то семьи у тебя нет, ты же этого хотел.

Он смеется, говорит: ладно, ладно, посмотрим, что там за семья. Я в тот раз никуда не повез его – прямо домой. Мы тогда жили, Эва, не в том доме, где мы сейчас сидим. У нас на этом же участке стоял маленький домик, без всяких удобств. Он и сейчас сохранился в виде подсобного помещения, прямо за этим домом стоит. Все наши дети в нем росли. В пятидесятые годы у нашего кооператива дела не очень хорошо шли, это с начала шестидесятых все пошло полным ходом. У нас был один из лучших кооперативов во всем Израиле, да... Приехали мы с Даниэлем домой. Милка с детьми высыпали, и наша девочка несет ему цветы. В июле – какие цветы? Все давно сгорело. Шлома, сосед, утром поехал за восемнадцать километров. Там цветочное хозяйство. Привез тюльпаны, это наш цветок. Что ты думаешь, в Библии царь Давид про другие цветы пел свою песню? А девочки мои его облепили, я вижу, все в порядке. Ну, крест на нем висит, странно, конечно, но я могу перетерпеть. Нам в «Акиве» давали понятие о веротерпимости. Я здесь с арабами сколько лет уже живу, тоже христиане. Ты знаешь, среди здешних арабов больше христиан, чем мусульман. Это сейчас стали отношения напряженные, а раньше у нас рабочих было много арабов, один мальчик Али у нас в семье жил, постарше наших детей. Ну, теперь он отсюда уехал...

Вот, Эва, он вошел в дом со словом «Шалом». Подошел к столу – говорит благословение на иврите. Не крестится, ничего такого... А у меня только одна мысль – не заплакать. Милка внесла супницу с кухни – и тут Даниэль сам заплакал. Тогда и я заплакал. Раз старший плачет, значит, я тоже могу... Вижу: он совсем не изменился. Потом время прошло, могу сказать: да, он совсем не изменился.

Я, понимаешь, атеист. Меня никогда религия не интересовала, и бог не интересовал! И все эти разговоры – есть бог, нет бога. У одних есть доказательства того, что бог есть, у других – что нет. А по мне, шесть миллионов закопанных в землю евреев – самое главное доказательство, что нет никакого бога. Ну, допустим, это личное дело каждого, что он думает о боге. Но мой брат, если уж ему так нужен был бог, почему он выбрал христианского? И вообще,

сколько их, богов, – один, два, четыре? Если уж выбирать, еврею логично выбирать еврейского бога. Но, честно скажу, если вспомнить, что тогда было, – чем бог от дьявола отличается? Брат мой был такой человек, такой человек! Праведник он был. Между прочим, он вначале ходил в этом облачении, а потом снял, ходил как все люди. Очень любил после меня одежду донашивать. Он новую одежду не любил. Новое ему подаришь, он кому-то передаривает вечно. Вот, смотри, наша последняя фотография. За год до его смерти. Старшая дочка здесь была, сняла. Нет, это я, а это он. Похожи, конечно, но разница есть. И больша-ая разница. Садись, пожалуйста, сейчас Милка штрудель принесет.

ЭВА. А как у ваших детей складывались отношения с таким странным дядей?

АВИГДОР. Какие отношения? Они его обожали, он с ними играл – то был лошадкой, то слоном, то собакой. У нас их было четверо, работа, забота, сама понимаешь, мы с ними не особенно играли, а Даниэль приезжал – такой праздник. Когда что-нибудь важное у них происходило, они бежали к нему, Милка даже немного обижалась.

МИЛКА. Ничего подобного. Я не обижалась! Когда была эта история с Алоном, я даже была ему благодарна.

ЭВА. А какая история?

АВИГДОР. Милка, принеси те письма, я хочу их показать Эве. Алон, наш младший. Он всегда был с характером – в шестнадцать лет решил съехать от нас к сестре. Мы его еле вернули. А потом поступил учиться в такое место, что теперь мы его почти не видим. Четыре года уже не видели. Не знаем, где живет, что делает. Знаем только то, что за границей. И что живой. И если погибнет, наше министерство нам сообщит. Вот, читай, читай прямо сейчас. Я тебе их с собой не дам.

9.

1981 г., Хайфа.

Даниэль – Алону

Поздравляю тебя, дорогой Алон! Тебе шестнадцать лет, и ты совершил свой первый взрослый поступок, ушел из дому к сестре. Это делают все люди рано или поздно – уходят от родителей. Но ты это сделал особенным образом – не потому, что женился и решил завести свою семью, и не потому, что уехал на учебу или на работу. Ты уехал потому, что родители тебя не понимают и вообще все их понятия тебе не по душе. В какое положение ты поставил сестру? Она тебя любит, конечно, приютит тебя, но ведь ей перед родителями неловко! Вроде получается, что она тебя одобряет!

Знаешь, ты прав – трудно жить в семье без понимания. Но дело в том, дорогой мой Алон, что ведь это процесс взаимный, они не понимают тебя, а ты не понимаешь их. Вообще в нашем мире с пониманием большие проблемы: по большому счету, никто никого не понимает. Я бы даже сказал, что человек очень часто не понимает сам себя: скажи, к примеру, вот зачем ты сказал своей матери, что она в состоянии понять только кур со своей фермы? Зачем ты сказал отцу, что его понимание жизни на механическом уровне – ограничивается знанием устройства карбюратора и коробки передач? Это надо было такую глупость сказать! Милка понимает своих кур! Милка чувствует, что им надо! Когда была эпизоотия и вымерли все куры в округе, у нее все птицы остались живы! Веками считалось, что только колдовство может защитить животных от таких поветрий, а твоя мать – одним пониманием – сохранила пять тысяч своих птиц! Да такое понимание, как у Милки, – редкий дар!

А карбюратор и коробка передач? Да это же сложные механизмы, а отец твой их глубоко понимает и даже сам изобрел столько маленьких механических вещей, все эти смешные машины, которые он цепляет к своим тракторам! Да если бы он был коммерсант и умел продавать свои маленькие изобретения, он давно был бы богачом! У него такая острая техническая мысль, а ты как будто считаешь, что это неважно, незначительно! Человек связан с миром растений и животных, даже с космосом именно через такое понимание. Это понимание высшего порядка, а не низшего!

Честно говоря, ты попал в мое больное место – всю жизнь я об этом думаю: почему мир полон непонимания? На всех уровнях! Старики не понимают молодежь, а молодежь – стариков, друг друга не понимают соседи, учителя и ученики, начальники и подчиненные, государства не понимают свои народы, а

народы – своих правителей. Нет понимания между классами – это Карл Маркс придумал, что одни классы должны непременно ненавидеть другие. А на деле не понимают. Все это даже в тех случаях, когда люди говорят на одном языке! А когда на разных? Как один народ может понять другой? Вот и ненавидят друг друга от непонимания! Не буду приводить примеры, в зубах навязли.

Человек не понимает природы (твоя мать – редкое исключение, она понимает своих кур!), он не воспринимает языка, которым природа яснее ясного указывает ему на то, что он причиняет земле вред, боль и того гляди вовсе уничтожит. И главное непонимание – человек не понимает Бога, что Он ему пытается внушить через все известные тексты, через чудеса, откровения, через природные бедствия, которые время от времени обрушиваются на человечество.

Не знаю, почему так. Может быть, оттого, что для современного человека важнее не «понимать», а «побеждать», «овладевать», «потреблять». В конце концов, смешение языков, по преданию, произошло в те времена, когда люди собрались построить башню до небес – то есть явно не понимали, что задачу поставили перед собой ложную, недостижимую и бессмысленную...

А с чего я начал? Поздравляю тебя с днем рождения! Давай повидаемся! У меня для тебя подарочек заготовлен! Позвони в храм, Хильда тебе скажет, где и когда меня можно найти. Или назначь мне встречу! Твой додо Даниэль.

1983 г., Хайфа.

Даниэль – Алону

Дорогой Алон! Еще два года тому назад у нас с тобой был длинный разговор о непонимании. В тот раз семейный конфликт разрешился очень легко, и мы быстро о нем забыли. На этот раз я прошу тебя попытаться встать на место твоих родителей, особенно матери, и понять, почему они не могут найти в себе силы поддержать тебя, порадоваться твоему выбору, порадоваться, что тебя берут в такую особую школу, куда трудно поступить. Мы все трое – твои родители и я – в твоем возрасте оказались в самой гуще очень мерзкой войны. Я, как ты знаешь, оказался переводчиком в гестапо, твоя мать была связной в Варшавском гетто, а отец восемь месяцев пробирался в Палестину через многие

страны, охваченные войной. Хочу тебе сказать, что война, как тюрьма и тяжелая болезнь, – большое несчастье. Люди страдают, теряют близких, лишаются рук-ног и всякое прочее, и, что самое главное, никто от войны не делается лучше. Не слушай того, кто тебе скажет, что война закаляет мужчин, что через войну люди меняются в хорошую сторону. Скорее так – очень хорошие люди и от войны не делаются хуже, но вообще-то – от войны и тюрьмы люди теряют человеческое лицо. Это чтобы ты понимал, почему никто из нас не пришел в восторг, что ты идешь в эту особую школу, где не просто военные, а какие-то самые особые из военных – разведчики или диверсанты, не знаю, как и назвать. Я в молодые годы много общался с военными – с немецкими, русскими, польскими, всякими, и все эти годы только одно меня радовало, что я был переводчиком, что ни говори, помогал людям договариваться между собой и ни в кого не стрелял.

Родители твои хотели, чтобы у тебя была мирная профессия, как ты раньше хотел, инженер или программист. Я их понимаю. Но и тебя понимаю – ты хочешь защищать страну. Израиль похож на Голландию: там есть дамба, которая постоянно удерживает море, рвущееся на Нидерланды, то есть на низкие земли, и каждый голландец, даже ребенок, готов своим пальцем заткнуть дырку в дамбе. Так же существует и Израиль – только вместо моря огромный арабский мир, готовый захлестнуть нашу маленькую страну.

Ты ожидал, что родители очень обрадуются твоему поступлению, а они скорее огорчились – потому что очень тебя любят и боятся за твою жизнь. Что же касается меня, Алон, я буду делать свое дело – молиться о тебе. Привет! Твой додо Даниэль.

1983 г., Негев.

Алон – Даниэлю

(надпись на открытке с видом Негева)

Додо! Я ничего не имею против твоих молитв, но не настаиваю. Поскольку на твои молитвы претендует множество людей, можешь поставить меня на последнее место в своем списке. Твой Алон.

1983 г.

Даниэль – Алону

(надпись на открытке с видом Голанских высот)

Алон! Я поставил тебя последним – после кошки. Додо Даниэль.

10. Ноябрь, 1990 г.

Из бесед брата Даниэля Штайна со школьниками города Фрайбурга

Я родился в Южной Польше и до семнадцати лет не отъезжал от дома дальше чем на сорок километров. Зато мое первое путешествие, вынужденное и растянувшееся на многие годы, началось, когда мне было семнадцать лет, в день нападения немецких войск на Польшу. Я расскажу вам об этом странствии. Оно для меня значило приблизительно то же самое, что для еврейского народа сорокалетнее блуждание по пустыне. Я покинул Польшу в начале сентября 39-го года, а вернулся в 45-м. Уходил я мальчиком, а вернулся взрослым человеком. В годы войны, не совершая больших переездов, я оказывался то в Западной Украине, которая до того была Восточной Польшей, а потом стала частью СССР, затем в Литве – в независимой, оккупированной русскими и оккупированной немцами, а потом в Белоруссии, которая прежде была частью Польши и тоже оказалась под немцами.

Местечко в Южной Польше, где я родился, – не город, не деревня. Жители – поляки и евреи. На второй день после начала войны началась паника.

До границы с Чехией было всего сто километров, и с той стороны стремительно приближалась немецкая армия. Огромная масса людей двинулась на север. Наша семья, спешно собрав пожитки, погрузила их в фуру. Лошадей не было, мы с братом впряглись, отец подталкивал сзади. Родители были пожилыми людьми, к тому же мать болела, и ее мы тоже посадили в фуру. Скорость нашего

продвижения была смехотворной. Через несколько километров нас нагнали родственники, и мы пересели в их телегу, запряженную лошадьми. В телегу перегрузили лишь самое необходимое.

Картина эта стоит перед глазами: забитая повозками дорога, толпы пешеходов, все были очень подавлены: убегали от немцев, но убегали неизвестно куда. На север, на восток... Отец был особенно удручен: он предпочел бы остаться. Он служил в австрийской армии во время Первой мировой войны, и две его медали, завязанные в носовой платок, лежали во внутреннем кармане пиджака. Его мемориальный мундир, который хранился в шкафу двадцать лет, остался среди вещей, брошенных в фуру. Он хмуро молчал, как всегда в тех случаях, когда ему приходилось подчиняться решениям матери. На бегстве настаивала именно она. Ее план был добраться до Кракова, а оттуда ехать на восток. Отцу не нравилась эта идея, он предпочел бы остаться под немцами.

В памяти от той недели остались постоянные заботы о лошадях – даже с водой было трудно. Колодцы вдоль дороги были вычерпаны, а возле речушек, которые попадались по пути, стояли очереди на водопой. Сена купить было негде, и у меня просто сердце кровью обливалось при виде наших замученных кляч. Эти крестьянские лошадки вовсе не были похожи на тех рослых и холеных коней, которых давали нам на занятиях в манеже кавалерийского полка. Когда мы добрались до Кракова, я распряг их и попрощался. Мы оставили лошадок прямо на улице, недалеко от вокзала, в надежде, что их подберут добрые люди.

Сесть в поезд было очень трудно. Двое суток мы провели на вокзале, и только на третьи нам удалось забраться в товарный вагон. Это был последний поезд, вышедший из Кракова, – через несколько часов железнодорожный вокзал бомбили. Наш поезд попал под бомбежку через сутки. Поезд не пострадал, но были разбиты пути, и дальше мы пошли пешком. Я думаю, что мы отъехали не больше чем на двести километров. Местного населения почти не было видно – деревни были покинуты, многие разрушены.

Огромная толпа беженцев – удивительно, каким образом столько людей поместилось в одном составе, – потянулась по разбитой проселочной дороге. Через несколько часов мы узнали, что город В., куда мы шли, уже взят немцами. Обогнать наступающую немецкую армию нам не удалось. Отец бормотал: я же говорил... я же говорил...

Мы решили обойти город: немцев в деревнях не было, они закреплялись только в крупных центрах. Мы свернули с дороги и устроили стоянку в перелеске. Мы с братом были опытные туристы – в «Аквиве» нас готовили к освоению новых земель, – и мы соорудили родителям небольшой навес и место для отдыха, развели костер и стали варить кашу из последних запасов крупы.

Пока еда варилась, родители немного поспали. Потом проснулись, и мы услышали, что они тихо разговаривают. Отец говорил: конечно, конечно, ты права...

Мама вынула из сумки четыре серебряные ложки, свадебный подарок тети, обтерла их носовым платком и дала каждому по ложке. Мы сели на землю и ели серебряными ложками кашу из закопченного котелка. Это была наша последняя семейная трапеза. Когда мы поели, мать сказала, что нам настало время расстаться: они слишком стары, чтобы идти с нами дальше.

– Мы будем вам помехой в пути, мы приняли решение возвращаться домой, – сказала мать.

– Немцы не причинят нам вреда, я служил в австрийской армии, они это учтут. О нас не беспокойтесь, – сказал отец.

– А вы постарайтесь добраться до Палестины. Это будет самое лучшее, потому что здесь вас наверняка заберут на трудовой фронт или придумают что-нибудь похуже, – сказала мать.

Тогда ходили слухи, что немцы будут забирать местную молодежь, чтобы пускать ее перед танками во время наступления.

Родители стояли рядом, такие маленькие и старые, и с большим достоинством – никаких слез, никаких причитаний.

– Только обещайте мне, что вы ни при каких обстоятельствах не расстанетесь, – добавила мать.

Потом она тщательно вымыла в остатке воды четыре ложки, добавила к ним еще две из сумочки, еще раз обтерла платком и полюбовалась. Мама любила эти

ложки – они поддерживали самоуважение.

– Возьмите, даже в самые плохие времена за серебряную ложку дают буханку хлеба...

Отец торжественно вынул бумажник – он тоже, как и мама, любил солидные вещи, не по достатку. Он дал нам денег. Думаю, что это было все, что у них оставалось. Потом он снял часы и надел мне на руку.

Потом я думал: почему же мы так безропотно послушались родителей? Мы были уже взрослые мальчики – мне семнадцать, брату пятнадцать, и мы очень любили их. Я думаю, что в нас была сильная привычка к послушанию, и в голову не приходило, что можно не послушаться, поступить как-то иначе.

11 сентября 39-го года мы расстались с родителями. Когда они ушли по дороге в ту сторону, откуда мы только что пришли, я лег в траву и долго плакал. Потом мы с братом собрали наши пожитки, я надел рюкзак – он был у нас один на двоих, брат взял котомку, и мы пошли, оставляя солнце за спиной.

Несколько дней мы блуждали по дорогам, ночевали в лесу – еды у нас никакой не было, мы обходили деревни стороной, потому что боялись всех. Наконец мы поняли, что надо наняться в батраки. Нас приняла украинская крестьянская семья, мы подрядились убирать картошку. Неделю мы работали в поле – не за деньги, а за еду и ночлег. Но когда мы уходили, хозяйка дала нам немного продуктов, и мы снова пошли на восток. У нас не было никакого плана, знали только, что надо уходить от немцев.

На следующий день мы встретили солдат. Это были русские. Оказалось, мы вышли из зоны немецкой оккупации. Это была полная неожиданность. Тогда мы ничего не понимали в политике. Я и сейчас не очень хорошо в ней разбираюсь. Мы знали про пакт о ненападении между Гер-манией и СССР, но не знали о секретной части этого соглашения, предусматривающей раздел Восточной Европы, по которому Латвия, Эстония, Восточная Польша (то есть Западная Украина и Западная Белоруссия) и Бессарабия отходили России, а Западная Польша и Литва – Германии. Львов в соответствии с этим документом отошел к России. Мы не знали также, что Польша капитулировала, а Россия передвинула по договоренности Сталина с Гитлером свои границы, снова присоединив к себе часть территорий, которые достались ей после раздела Польши в 1795 году.

Пешком мы добрались до Львова. Львов поразил нас – мы еще не видели таких больших городов, с красивыми домами, широкими улицами. Мы дошли до Рыночной площади, на которой шла торговля. Здесь нам очень повезло – мы встретили нашего приятеля, тоже члена «Акивы», Аарона Штамма. Штамм был нас старше, тоже из тех ребят, которые мечтали попасть в Палестину. Оказалось, что многие из «Акивы» собрались здесь, и теперь они надеялись пробраться в одну из нейтральных стран, откуда еще можно было уехать в Палестину. В то время Литва еще оставалась нейтральным государством, и решено было пробираться в Вильно. Но дело оказалось затяжным: сионистские лидеры должны были прежде организовать перевалочные пункты по дороге в Палестину, что было очень сложно в условиях большой войны в Европе. Искали обходные пути и безопасные маршруты.

Молодежная группа застряла во Львове.

Мы с братом сразу же стали искать работу, время от времени возникали какие-то случайные приработки. Брату везло больше, чем мне, – он устраивался то в гостиницу, то в пекарню. Мама оказалась права – одну из серебряных ложек я выменял на каравай деревенского хлеба.

Обстановка во Львове была очень сложной. В то время она казалась нам просто кошмарной – столько в городе набилось беженцев из Польши, главным образом евреев. Потом, после всех военных злоключений, уже не казалось, что во Львове было так уж плохо: нас не ловили на улицах, не отправляли в тюрьмы, не расстреливали...

Кое-как мы перебивались, снимали впятером какой-то сарайчик в пригороде, на Янове, недалеко от еврейского кладбища. Вечерами собирались, мечтали о будущем, пели песни. Мы были очень молоды – ни опыта, ни воображения не хватало, чтобы предвидеть то, что нас ожидало.

Зима наступила рано. В ноябре все завалило снегом, и в это время члены «Акивы» разбились на группы, чтобы переходить границу, которая в то время была русско-литовской. Поначалу граница охранялась очень небрежно, но к зиме положение изменилось, пограничники стали лютовать. Наши группы задерживали, нескольких моих знакомых арестовали и отправили в Сибирь.

Я был руководителем одной группы, мы переходили границу в районе города Лиды. Туда мы доехали на поезде, а на месте нас встретил проводник, который обещал провести нас ночью через границу. Мы шли через лес, без дороги, проваливаясь по колена в снег, страшно замерзшие – теплых вещей у нас не было. Когда мы совсем выбились из сил и казалось, что границу уже перешли, нас все-таки задержали, поместили в местную тюрьму, откуда утром выпустили, когда мы отдали им все деньги. Тот же проводник встретил нас, и на этот раз перевел через границу по проложенной тропке без всяких осложнений. Потом мне говорили, что это была хитрость нашего проводника, который дал заработать своим друзьям из местной милиции. В своем роде он был честным человеком, мог бы просто исчезнуть... Оставшиеся фамильные ложки перешли к милиционерам. В общем, нам повезло.

Повезло и брату: он переходил границу с другой группой, их задержали литовцы, но, увидев их польские документы, пропустили – брат сказал, что они жители Вильно. Те по безграмотности не разобрались.

Попав в Литву, мы радовались: нам казалось, что еще небольшое усилие, и мы доберемся до Палестины. Мы были счастливы, что из оккупированного русскими Львова попали в литовский город Вильно. То есть литовский он был географически, больше половины населения составляли евреи и поляки.

11.

Август, 1986 г., Париж.

Павел Кочинский – Эве Манукян

Милая Эвка! Твой отказ читать мою книгу меня страшно озадачил: сначала я обиделся, а потом понял, что ты относишься к породе людей, которые не желают знать о прошлом, чтобы сохранять равновесие в настоящем. И таких людей я уже встречал. Но если мы согласимся вычеркнуть прошлое из памяти и оградить память наших детей от ужасов тех лет, мы будем виноваты перед

будущим. Опыт Холокоста должен быть осознан – хотя бы ради памяти погибших. Массовые идеологии освобождают людей от моральных установок, я в своей юности был носителем такой идеологии, а позднее, оказавшись на оккупированной фашистами территории, – ее жертвой.

В те времена я партизанил на Карпатах, а твоя мать – в Белоруссии. Тогда я еще не знал, что идеология, ставящая себя выше нравственности, неизбежно становится преступной.

После войны я собирал историю страны, которой никогда не было на карте Европы, то есть она не имела очерченных границ, – Идишланд. Страна людей, говорящих на языке идиш. Я собирал материалы по истории еврейского сопротивления на территориях Идишланда – Польши, Белоруссии, Украины, Литвы и Латвии. Все это я публиковал в разных исторических изданиях. А тема моей научной диссертации – я ведь жил в послевоенной Польше – была посвящена истории рабочего движения. А книга, о которой я говорю, не научная монография – это мои воспоминания тех лет и свидетельства людей, которых я лично знал.

Мы, немногие оставшиеся старожилы этого сожженного материка, знаем друг друга если не поименно, то пофамильно. С твоей матерью я дружу с первых лет жизни – мы дети из одного дома с той самой Крохмальной улицы, которая стала известна на весь мир благодаря Янушу Корчаку. Поверь, имя твоей матери будет написано в истории этого времени большими буквами.

Я не могу настаивать, чтобы ты читала всю книгу, но я сделал для тебя ксерокопию нескольких страниц, которые я в свое время с большим трудом добывал в архивах. Там говорится о событиях, имевших место незадолго до твоего рождения, – ты сама как-то жаловалась, что мать не хочет тебе ничего говорить. Ты к Рите безжалостна, но ты не знаешь, что ей пришлось вынести. Я хочу, чтобы ты это знала.

Целую, твой Павел.

1956 г., Львов.

Ксерокопии из архива НКВД(Центральная картотека, № 4984)

ПРИКАЗ № 01/1 ПО ГОРТЮРЬМЕ г. ЛЬВОВА (Бригитки) от 5 октября 1939 года:

Всех заключенных, имеющих сроки по политическим статьям и являющихся членами польских социалистических партий и организаций, освободить. Список из 19 человек прилагается.

И.о. начальника тюрьмы капитан НКВД Ракитин А.М.

Подпись.

Дата: 5 октября 1939 г.

* * *

АВТОБИОГРАФИЯ

Я, Рита Ковач (Двойре Брин), родилась 2 сентября 1908 года в бедной еврейской семье в Варшаве. В 1925 году я поступила в высшую школу Муха-Скочевской по специальности воспитателя. К несчастью, многочисленные аресты и тюремные заключения не дали мне закончить обучение.

В 1925 году, обучаясь в высшей школе, я вступила в ряды революционной молодежной организации «Гринс».

В 1926 году я вступила в КСМ (польский комсомол) и организовала кружок просвещения при одной из больниц в Варшаве.

В 1927 году я стала секретарем районного комитета в Воле, пригороде Варшавы. Будучи кооптирована на пост секретаря молодежной ячейки, я участвовала в собраниях Коммунистической партии Польши. В период разногласий между «большевиками» и «меньшевиками» поддерживала «меньшевиков».

В марте 1928 года я была задержана и арестована во время демонстрации рабочей группы завода «Почиск» и была приговорена к двум годам тюрьмы. Отбывала срок в тюрьме «Сербия» в Варшаве и в тюрьме города Ломжи.

В марте 1930 года я освободилась. Я присоединилась к региональному комитету КСМ и стала секретарем антивоенной секции.

В октябре 1930 года я переехала в Лодзь и открыла просветительский кружок в больничной кассе. В Лодзи я была секретарем райкома и членом воеводского комитета.

В январе 1931 года я снова была арестована и получила трехлетний срок. Наказание отбывала в тюрьме г. Серадза, где была секретарем тюремной коммунистической организации. После освобождения в 1934 году я стала партийным работником – сначала секретарем Ченстоховского комитета, потом Лодзинского.

В ноябре 1934 года я была арестована, но через два месяца выпущена.

В январе 1935 года я вступаю в КПЗУ (Коммунистическая партия Западной Украины). Я становлюсь секретарем КСМ города Львова и прилегающих районов (Дрогобыч, Станислав, Стрый).

В сентябре 1936 года я снова была арестована. Я была приговорена к сроку в 10 лет. В ноябре 1936 года в тюрьме Бригитки я родила сына Витольда.

В апреле 1937 года я с сыном была переведена в тюрьму Фордон под Варшавой. В обеих тюрьмах я была руководителем коммунистической организации.

В январе 1939 года я была опять переведена во Львовскую тюрьму Бригитки, откуда была освобождена после прихода Советской Армии.

Рита Ковач.

* * *

ЗАЯВЛЕНИЕ

В городскую партийную организацию г. Львова

от Риты Ковач

В связи с освобождением Восточной Польши и передачей этих территорий в СССР, полагая, что жители автоматически приобретают советское гражданство, я, Рита Ковач, состоящая с 1926 года в рядах КСМ (польский комсомол), прошу принять меня в ряды ВКП(б).

Подпись.

Дата: 5 октября 1939 года

Прилагается список лиц, готовых подтвердить мои слова и, как старшие партийные товарищи, рекомендовать меня в ряды ВКП(б):

1. Антек Возек (Свинобой)
2. Антек Элстер
3. Мариан Машковский
4. Юлия Рустигер
5. Павел Кочинский

12. 1986 г., Бостон.

Из дневника Эвы Манукян

Рассказывая Эстер о своем детстве, я неожиданно сделала несколько открытий о самой себе. Эстер – поразительный человек: она почти не комментирует, почти не задает вопросов, но само ее присутствие такое сочувственное, такое умное, что я и сама как будто становлюсь умнее и тоньше.

С Гришей как раз наоборот: он меня настолько превосходит интеллектуально, что в его присутствии я немею и вообще боюсь сказать глупость. Зато с ним я полностью царю в спальне, потому что в постели я точно умнее его. Открытие же мое – от общения с Эстер – состоит в том, что мои воспоминания оказались гораздо глубже и они переоцениваются. Значит, воспоминания не являются постоянной величиной. Они подвижны и изменчивы. Это поразительно!

Теперь не о подвижности воспоминаний, а о фактах. В сущности, я не так много знаю: из документов известно, что нас с братом привезла в приют сестра Эльжбета. Приют был организован Вандой Василевской, любимицей Сталина, – теперь уже почти никто не помнит имени этой польской писательницы-коммунистки – для детей поляков, Сталиным же погубленных. Без Ванды ничего бы не было, хотя официально покровительствовал приюту Международный Красный Крест и тайно – польская католическая церковь. Как мы попали к Эльжете, я не знаю. Известно только, что детей – меня и брата – привела к ней не мать, а какая-то другая женщина, и это произошло в 43-м году. Мне не было и трех месяцев, Витеку – шесть лет. Как нас переправляли через границу – тоже не знаю. То ли официально, с документами Красного Креста, то ли нелегально. Последнее – с двумя еврейскими детьми! – трудно представить. Хотя, с другой стороны, в этих местах деревенские люди испокон веку переходили границу по тайным тропам, проложенным через леса и болота.

Польский приют был в Загорске. Почему этот городок – маленький русский Ватикан, его прежде называли Троице-Сергиевой Лаврой – выбрали для приюта, не знаю. Теперь и спросить некого. Может, в Польше где-то доживают монахини, которые тогда за нами ухаживали. Сам-то приют после войны, году в 46-м, вернулся в Варшаву и, кажется, до сих пор существует. Так сложилось, что я туда во второй раз попала уже в пятидесятые годы, когда меня мать привезла в Варшаву.

Мои первые детские воспоминания – огромные купола церквей, паровозные гудки, белый хлеб, какао, какая-то сладкая паста, американские подарки. Красный Крест нас обеспечивал, а монахини не умели воровать. Я была самая младшая, девочки со мной играли, таскали на руках. И главное – у меня был

родной брат, первая любовь моей жизни. Он был очень красивым. Жаль, ни одной фотографии не осталось. До встречи с Эстер он был единственным, кого я воспринимала как старшего. Он умер в 53-м, в шестнадцать лет.

Когда приют в 47-м году вернулся в Польшу, нас с Витеком и еще нескольких детей оставили в детском доме в СССР. Нас не востребовали. Мать еще была в лагерях, а родственников, которые о нас хлопотали бы, не было. Счастье, что мы с Витеком оказались вместе, что нас не разъединили. Мы остались в Загорске. Витек всегда говорил со мной по-польски. Говорил шепотом. Это был наш тайный язык. Забавно, что потом, когда я оказалась в Польше, я долго говорила шепотом. Брат всегда говорил мне: мы обязательно вернемся в Польшу. Никого на свете я не любила так сильно, как его. И он меня любил больше всех на свете. Последние годы, когда я стала школьницей, он отводил меня в женскую школу, а потом шел в мужскую, в двух кварталах. Я в подробностях запомнила первый день: нам выдали коричневые форменные платья и белые фартуки, и он держал меня за руку. Другие девочки были с мамами и бабушками, а у меня был брат, и я ощущала непонятное преимущество. Я так гордилась!

Кроме польского языка, была еще одна тайна, которую открыл мне Витек, когда мы уже были в советском детдоме. Он сказал, что мы евреи. Но при этом добавил, что он верит в католического Бога. Я не знаю, был ли он крещен. Но Витек говорил мне, что надо молиться, что Божья Матерь наша покровительница, она заботится о сиротах. И я Ей молилась, а Сын Ее меня вовсе не интересовал. Думаю, что все это внушили брату монахини. Когда Витек умер, я молилась, чтобы он воскрес, но этого не произошло. Тогда, после смерти Витека, у меня с Девой испортились отношения. Я перестала молиться. А потом Она мне приснилась: ничего особенного, погладила по голове, и мы помирились.

Мать все эти годы ничего о нас не знала. Она не знала, что Витек жив, не знала, что он умер. Она партизанила, потом воевала, потом сидела в сталинских лагерях, и выпустили ее только в 54-м, через год после смерти Сталина. И после смерти Витека.

Моя встреча с матерью произошла в больнице: я заболела скарлатиной, и меня поместили в московскую больницу. Она пришла прямо в палату. Некрасивая. Плохо одетая. Сухая. Мне в голову не пришло, что больше всего она боялась в тот момент заплакать. А я заплакала – от разочарования. Мать оформила документы, и мы уехали в Польшу. Это был ужас. Самый большой ужас моей жизни. Она меня не полюбила, а я ее просто возненавидела. Я ничего не знала

об обстоятельствах, при которых она нас оставила. Чужая женщина, она и по виду ничем не отличалась от русских измученных воспитательниц и шершавых нянек. А я воображала маму в образе блондинки в плечистом шелковом платье со светлыми локонами из-под красивой заколки...

Эстер, не пугайтесь. Я не сумасшедшая. Я прошла курс психоанализа. Просто ребенку нужна была мама. Нормальная мама. Но она говорила только о политике. Она говорила только о коммунизме. Она преклонялась перед Сталиным, считала – после стольких лет сталинских лагерей, – что его смерть огромный удар для всего прогрессивного человечества. Так и говорила: «прогрессивное человечество».

В Варшаве я познакомилась с этим прогрессивным человечеством – несколькими уцелевшими товарищами по коммунистическому подполью. Самым симпатичным из них был Павел Кочинский. У меня с ним до сих пор сохранились добрые отношения. Он милый и совершенно родной. Тоже был в войну в еврейском партизанском отряде, на Карпатах. Из трехсот человек отряда выжили двое. Когда Гомулка в 68-м году стал выдавливать евреев из Польши, он сам вышел из партии.

На убеждения моей матери не повлияли даже лагеря и тюрьмы, а она просидела – сначала в Польше, потом в России – больше десяти лет. Она мне постоянно излагала свои идеи, но организм мой имеет потрясающую сопротивляемость ко всему, что она говорит: я ее не слышу.

Я прожила с ней в Варшаве год. Она со мной не справлялась. Я ужасно себя вела. Мне было тринадцать лет, самый кошмарный возраст. И тогда она отдала меня в тот же самый приют, который когда-то находился в Загорске, а теперь был переведен в Варшаву. Этот год был для меня особый – вместе с другими приютскими девочками я ходила в костел. Нас окружали монахини – тихие, строгие, одним своим видом отмечающие не то что неповиновение, а даже тихий ропот. С матерью я воевала, а монахиням подчинялась легко и без усилия. Вскоре я пошла в костел и сама крестилась. Это было мое желание, никто меня не принуждал. Наверное, отчасти из ненависти к матери.

Я ходила на все службы, часами молилась, стоя на коленях. Тогда были большие гонения на католиков, и во мне жил дух сопротивления пошлости мира – наверное, тот самый дух, который сделал ее коммунисткой, меня привел в церковь. С одноклассниками я не дружила: я была жидовка и к тому же

ревностная католичка. В нормальной голове не соединяется. Я проводила много времени в огромном соборе. Это был не обычный костел, а действительно огромный собор, там была кафедра, и в те месяцы все были заняты подготовкой к посвящению нового епископа. В подвалах собора – ряды гробниц епископов, священников, монахов – вереницы дат и фамилий, века с XV-го.

Я молилась на каждом гробу – горячо, впадая в глубокий транс. Жизнь наверху совершенно от меня отлетала, мне даже не хотелось выходить наружу. О чем я молилась – интересный вопрос. Теперь я бы сказала – об изменении жизни. Тогда, в мои тринадцать-четырнадцать лет, я молилась о том, чтобы ничего этого, здешнего, не было, чтобы все было другое. Вероятно, я была очень близка к помешательству, но сама этого не знала. Может, гробы эти меня защитили?

Монахини видели мое рвение, и на предстоящем торжестве мне была отведена важная роль – я должна была нести подушечку, на которой лежал терновый венец – korona cierniowa... Этот день я запомнила на всю жизнь. Костел был полон народу, горели тысячи свечей, монахи несли кадильницы, от которых исходил дивный запах. Этот запах всегда возвращает меня к моей короткой и отчаянной вере. Я стояла на коленях, а на вытянутых руках держала венец Христов. Руки мои онемели и замерзли – как два куска льда. Колени ощущали узелки льняного ковра, покрывающего каменный пол. Было больно. Потом я перестала чувствовать боль, перестала чувствовать ноги – я возносила вверх вместе с венцом и плыла к алтарю. Я поднесла венец золотистому епископу и услышала ангельское пение. Я была далеко ото всех, но едина со всеми. Монах нежно взял меня за руку – венец лежал на алтаре. Я не знаю, что со мной происходило, я думаю, что это и была вера.

Вера ушла от меня в один день – меня не пустили к первому причастию. У меня не было белого платья. Когда мать пришла в приют на свидание, я умоляла ее купить мне это несчастное платье – она наотрез отказалась. А священник не разрешил мне приступить к причастию в обыкновенном платье. Монахини меня любили и, конечно, нашли бы для меня платье, но я стеснялась их просить. Мне было стыдно. Это потому, что я гордячка.

Всех девочек удостоили причастия. А меня – нет. И я ушла, а мой Бог и моя вера остались в церкви.

Год я прожила в приюте, а потом мать меня забрала, сделала еще одну попытку создать из меня семью. Она и сама переживала тогда трудные времена – с 56-го

в коммунистической среде шла десталинизация, она перессорилась со всеми своими друзьями, и один только добросердечный Павел Кочинский изредка навещал ее, но всякий раз кончалось тем, что она его с криками выгоняла. В этот год я впервые почувствовала к ней жалость – она была одинока и неколебима, как скала. А у меня как раз завелись первые друзья. Собственно, не друзья, а роман с гитаристом, настоящим джазовым музыкантом. В Польше все эти годы были очень сложными, но 58-й мне запомнился как очень счастливый. Мне едва исполнилось шестнадцать. Если меня кто и воспитывал, то католики, и тут возник конфликт, который я разрешила без малейших колебаний: выбор между Девой Марией и гитаристом был решен в его пользу. Роман был бурным и кратким, потом было еще несколько любовников. Мать молчала. В последнем классе школы я твердо решила, что мне надо уезжать. Путь для меня был только один – в Россию. Мать помогла мне первый и единственный раз в жизни. Она использовала свои связи, и я получила направление на учебу в Москву, в Сельскохозяйственную академию. Тимирязевкой ее называли. Никто не спрашивал меня, чему бы я хотела учиться, там было место, и я уехала.

Жила я в общежитии для иностранных студентов, главным образом из стран народной демократии. На втором курсе я вышла замуж за Эриха. В Польшу я больше не вернулась. Мать там оставалась до 68-го. Тогда были большие волнения по всей Европе, они захватили и Польшу. Когда подавили все эти беспорядки, в Польше начались аресты, увольнения, а в их партии пошла волна против ревизионистов и сионистов. Гомулка выгонял евреев – их оставалось в партии довольно много, и все были, как я понимаю, просоветские. Мать выперли, несмотря на ее великие, как она считала, заслуги. Она боролась до последнего, писала какие-то апелляции. У нее случился инсульт.

Она уехала в Израиль, который ненавидела тогда всей душой. Уже восемнадцать лет, как она в Хайфе, в доме престарелых. Она герой войны и жертва сталинских репрессий, у нее пенсия и приличные условия. Я навещаю ее раз в год. Высохшая старуха, волочит ногу, глаза по-прежнему горят. Я сжимаю зубы и провожу там три дня. Ненавидеть я ее перестала, а любить не научилась. Жалко, это да.

Про внука она никогда не спрашивает. Однажды, когда Алексу было шесть лет – как Витеку, когда она сдала нас в чужие руки, – я его туда возила, думала, она как-то потеплеет. Она ему стала рассказывать, как воевала. Он попросил показать автомат. Она сказала, что оружие она сдала, когда война закончилась. И он потерял к ней интерес. Вообще он чудесный мальчик, ласковый, очень

любит животных.

Павел Кочинский тогда же, в 68-м, уехал в Париж. Работает в Сорбонне, в каком-то институте по изучению евреев. Он-то из партии вышел. А моя мать – не хотела. Ее выгнали. Она даже из Израиля ухитрилась написать письмо с просьбой восстановить ее в партии. Сумасшедшая...

С Павлом лет пять тому назад я встречалась в Париже. Он пишет исследования по современной истории и жалуется, что его сын стал троцкистом. Забавно...

13. Январь, 1986 г., Хайфа.

Письмо Риты Ковач Павлу Кочинскому

Павел! Я все-таки хочу сообщить тебе о перемене адреса. Теперь номер моей комнаты не 201, а 507. Все остальное без перемен. Живу все в той же богадельне. На случай, если вдруг тебе захочется написать. Хотя, конечно, о чем между нами может быть переписка? Ведь когда ты был в Израиле в семьдесят первом году, ты даже не счел нужным меня оповестить, я даже не говорю – приехать на меня посмотреть. Смотреть, конечно, не на что. Хромая, кривая и злобная. Моя дочь это всегда подчеркивает – так и говорит: почему ты такая злобная?

На прошлой неделе здесь одна девица из персонала столовой – ее немедленно уволили! – тоже сказала мне, что я злобная. Я подумала и решила, что я действительно злобная. Это правда, надо признать. Конечно, во мне накопилось много раздражения, но Павел, скажи, ты свидетель моей жизни, мы с тобой дружили сколько себя помню: разве жизнь была ко мне справедлива? Ты единственный, кто помнит мою мать, – но ведь она всю свою любовь отдала моему брату, а меня терпеть не могла. И ты этому свидетель, и вся улица это знала. Я была красивая девчонка, и мой первый мужчина, которого я без памяти любила, предал меня, ушел к моей бывшей подружке Хеленке, которая меня еще раньше возненавидела, и как мне было тошно, что он именно к ней, к моей врагине ушел... Не помнишь? Предательства шли одно за другим. Когда меня первый раз посадили в тюрьму в 28-м, ты думаешь, я не знаю, кто тогда всех заложил? Уже после войны, когда я работала в спецотделе, мне открыли эти

документы: Шварцман всех сдал, он был провокатор, но обо мне он написал отдельно, и всех собак на меня повесил. Я участвовала в демонстрации, а он нарисовал такую картину, что я была главный коммунист. Наверное, я и была в действительности главный коммунист. Сейчас, когда прошло столько лет и столько наших погибло, сам подумай, кто же остался верным? Только те, кто погиб, и я. Тебя я не считаю – ты вышел из партии, ты изменил, изменился. Сидишь в Сорбонне и описываешь ошибочность коммунистических идей, вместо того чтобы говорить об ошибках тогдашнего руководства. Я осталась все той же, и ничто меня не переменит. В моих глазах ты такой же предатель, как все остальные. Но ты единственный, кто может меня понять. Даже моя дочь ничего не смогла понять. Это просто поразительно, иногда она говорит мне те же самые слова, которые говорила моя мать. Эва ее никогда не видела, но тоже меня обвиняет в эгоизме и жесткости. Слово в слово! Чего я хотела для себя? Я никогда ничего не имела, мне ничего не было нужно. Я прожила всю жизнь в одной паре обуви – она рвалась, я покупала новую. У меня было одно платье и две пары трусов! И меня упрекают в эгоизме! Эва, когда мы жили в Варшаве, говорила мне, что я ужасная мать, что ни одна женщина на свете не поступила бы так, как я, – это когда я отправила их в приют... Сердце мое разбилось тогда на части, но я делала это для их будущего. Чтобы они жили в справедливом обществе. Я отправила своих детей ради спасения, потому что я знала, что могу их только погубить.

Долгое время я о них вообще ничего не знала и узнала о том, что они живы, только после войны, но я не успела тогда за ними приехать, потому что сначала я работала в спецотделе НКВД, на секретной работе, а потом меня снова посадили. Меня снова предали. Это несчастье моей жизни – меня всегда окружали предатели. И ты тоже предатель. Когда ты ушел к Хеленке, это было самое большое несчастье в жизни, но потом я никогда никому не отдавала сердца. Но ты дважды предатель, потому что и от Хеленки ты ушел, и скольких еще бросил, я не знаю. В этом смысле вообще все мужчины предатели, но после тебя это уже меня не интересовало, я это разделила навсегда: любовь – одно дело, а физиология – другое. Мужчина вообще не стоит любви. Правда, женщина тоже не стоит. Я свою любовь отдала не мужчинам, а делу. Партия тоже не безгрешна, теперь я понимаю, что у партии тоже были ошибки. Но здесь одно из двух – или она свои ошибки осознает и исправит, или она перестанет быть той партией, которой я отдала свое сердце, свою любовь и свою жизнь. И я никогда не пожалею, что сказала свое «да».

Мне просто смешно смотреть на Эву – это жизнь пустой бабочки, она порхает от мужчины к мужчине, каждый раз она счастлива, потом несчастлива, и это ей не

надоедает. Когда ей скучно, она едет на курорт, или меняет квартиру, или покупает еще чемодан тряпок. Когда она приезжает меня навещать, она ни разу не надевает ту же самую одежду. Приезжает на три дня с двумя чемоданами!

Когда я пытаюсь ей что-то сказать, она начинает орать, и я давно уже ничего ей не говорю. Я во всем виновата, даже в смерти Витека! Но я тогда была в лагере! Что я могла сделать для Витека? А что я могла сделать для них, когда переходила линию фронта с автоматом, банкой тушенки и спичками! Что я могла сделать для них, когда по трое суток сидела в сугробе, поджидая воинский состав, чтобы пустить его под откос? Она ничего не понимает со своими двумя чемоданами барахла! Она приезжает в Израиль, и ты думаешь, она сидит с матерью? Нет, то она едет на Киннерет, то ей хочется в какой-то монастырь! Ей, видишь ли, нужно к Деве Марии, когда ее собственная мать сидит одна, как палка, целыми месяцами!

Ты, конечно, считаешь, что я не умею общаться с людьми и потому не имею никакого общества? Но ты пойми, этот дом, в котором я живу, он лучший во всем Израиле, и ты должен понять, что здесь сплошь буржуазная публика, какие-то богачи и банкиры, я их всю жизнь ненавидела. Из-за таких, как эти евреи, существует антисемитизм! Весь мир их ненавидит, и правильно делает! Эти дамочки и господа! Здесь нормальных людей почти нет. Только несколько комнат во всем доме отданы нормальным людям, их оплачивает государство, несколько участников войны, и инвалиды здешних войн, и герои сопротивления. Но почему все это мне оплачивает Израиль? Мне должна Польша! Я отдала все свои силы Польше, я воевала за Польшу, я жила ради ее будущего, а она меня вышвырнула! Она меня предала.

В общем, Павел, ты понимаешь, что я имею в виду. Я хочу тебя видеть. Значения большого не имеет, но мне в этом году исполняется 78 лет, и мы с тобой с одного двора, мы знакомы от рождения. Я еще сколько-нибудь проскриплю, но недолго. Так что приезжай, если хочешь со мной попрощаться.

Мне здесь полагается раз в году путевка в санаторий, это грязелечебница на Мертвом море, поэтому если решишь приехать, то не в декабре. В декабре я буду в этой санатории. Нам, конечно, дают путевки не в сезон. Понятное дело, бесплатные. А может быть, наоборот, ты приедешь в декабре, и я закажу тебе комнату в этой лечебнице, оплачу, разумеется, и мы там все обсудим. Так что ты заплатишь только за билеты. Правда, зрелище в этой лечебнице не самое веселое – множество колясочников, и я тоже на коляске, между прочим. Весной,

когда хороший сезон, конечно, лечатся здесь только толстосумы со всего мира, а инвалидов, героев и всякое старое барахло сюда не пускают, чтобы не портили общего вида. Вся жизнь прошла, Павел, и мир ничуть не стал лучше. Ну, ты меня понимаешь.

Напиши заранее, а то Эва собирается приехать, я не хочу, чтобы это произошло в одно время. Будь здоров.

Рита.

14. Июнь, 1986 г., Париж.

Письмо Павла Кочинского к Эве Манукян

Милая Эва! Я только что вернулся из Израиля, куда ездил навестить Риту. Мне очень стыдно, что я не сделал этого раньше, а только после ее отчаянного письма. Зная ее характер, могу себе представить, чего ей стоило написать такое письмо.

Во-первых, должен тебя успокоить: с твоей матерью ничего плохого не происходит. Она стареет, как все мы, но все такая же резкая и непримиримая, все такая же верная и честная. Честная до идиотизма. В жизни не встречал я другого такого человека, способного немедленно снять с себя последнюю рубашку и отдать первому встречному. Иметь ее в качестве матери очень сложно, да и в качестве друга в условиях сколько-нибудь нормальной жизни – тоже сложно. Но в условиях нечеловеческих, перед лицом смерти – лучше ее нет. Двое суток она тащила на себе раненого напарника, он умирал и просил его пристрелить, но она дотащила его до базы, где он и умер через час. Кто на такое способен?

Эвка, ты свинья! Найди время и навести старуху. Она, конечно, железная, но найди время, чтобы погладить по голове эту чертову железяку. Не своди с ней счеты. Она такая, какая она есть. Жуткая еврейка, настоящая еврейка, с маленькими кулачками, которыми она размахивает каждый раз, когда видит несправедливость. Она нетерпима и негибаема, как наши предки, она пойдет –

и пошла! – на костер ради идеи. И всех, кому на костер не хочется, она презирает.

Например, меня. По глупости я похвастал, что получил премию за книгу о партизанщине «Идишланда», за что она и выплеснула на меня целое ведро дерьма. Оказывается, я продаю за деньги наше святое прошлое... Книгу уже перевели на английский и немецкий. Ты напрасно отказываешься ее читать – там есть несколько слов и о твоей матери. Я все-таки пришлю тебе книгу. Может, настанет время, когда она покажется тебе интересной. На каком языке ты предпочитаешь – по-английски или по-немецки? По-польски она не выйдет никогда.

Израиль произвел на меня, как всегда, очень сильное впечатление. Прежде я не бывал в Хайфе, она мне очень понравилась. Больше, чем Тель-Авив. Тель-Авив – плоский город, без особой истории, а Хайфа многослойна почти как Иерусалим.

Рита переехала в новую комнату, и у нее с балкона потрясающий вид на весь Хайфский залив, и виден Кишон. Там промзона, стоят какие-то градирни, склады, довольно говенное место. Но сверху складов не видно. Я туда отправился – исторический интерес. Поскольку ты девушка в еврейском смысле совершенно необразованная, не знаешь «мамме лошн», то есть идиш, и, скорее всего, и в Библию не заглядывала, а я успел походить в хедер и получить начатки еврейского образования, то скажу тебе, что именно здесь, у потока Кишон, в IX веке до нашей эры, в годы правления царя Ахава и царицы Езевел, которая поощряла культ Ваала и Ашеры, произошло нечто особенное. Пророк Илия, яростный защитник веры в Единого Бога, устроил своего рода соревнование. Он предложил жрецам Ваала низвести огонь с неба и возжечь возложенные ими на алтарь жертвы. Они долго взывали к своим богам, но ничего у них не получилось. А Илия возложил на алтарь Единого жертвенное животное, трижды облил водой и алтарь, и жертву, и дрова, помолился, и огонь немедленно сошел с небес. Наша взяла. Всех жрецов – 400 пророков Ваала и 450 пророков Ашеры – Илия приказал немедленно заколоть. Что и было сделано на этом самом месте сей же час. Народ вернулся к Господу, а труп Езевел бросили собакам.

Так понимали справедливость наши предки.

Потом я поднялся на гору Кармель. Уже темнело, когда я оказался у ворот Кармельского монастыря «Стелла Марис». Я вышел из машины – вез меня очень

милый человек, доктор из России, служащий в доме престарелых, – и тут подъехала раздолбанная машина, из нее вылез маленький человек в растянутом свитере и в соломенной шляпе с провисшими полями. Это был монах из местного монастыря, и он с радостной улыбкой стал нам рассказывать, какие достопримечательности можно увидеть с этой точки при свете дня. Мы поблагодарили и отправились в путь, и уже в дороге доктор сказал мне, что этот монах – известный в Израиле человек, брат Даниэль Штайн. Только на следующее утро, когда я уже сидел в аэропорту, ожидая рейса в Париж, я сообразил, что это был Дитер Штайн, о котором я даже писал в своей «партизанской» книжке. Это именно он вывел народ из Эмского гетто. В том числе и твою беременную мать! Ты все спрашиваешь, кто твой отец. Вот этот человек сделал для твоей жизни больше, чем отец. Благодаря ему ты вообще родилась. Потому что если в он не организовал побег, всех убили бы.

И вот, из-за медлительности моей реакции, я упустил возможность пожать руку одному из настоящих еврейских героев.

Когда ты соберешься навестить свою мать, постарайся разыскать его. Тебе как католичке будет о чем с ним поговорить.

Мирка передает тебе привет и приглашает к нам в Париж. Мы сменили квартиру и живем теперь очень удачно – недалеко от рынка Муфтар, в пятнадцати минутах хода от Люксембургского сада. Комната для вас найдется. Только предупредите заранее, потому что у нас часто гостят разные люди. Целую тебя, дорогая Эва. Твой Павел.

15. Апрель, 1986 г., Санторини.

Письмо Эвы Манукян к Эстер Гантман

Дорогая Эстер! Наши планы немного нарушились, потому что, когда мы прилетели в Афины, Гриша в гостинице встретил своего приятеля Сему, тоже математика и бывшего москвича, и он уговорил нас поменять маршрут – вместо Крита плыть на остров Санторини. Сначала я была не особенно довольна, потому что про Крит я хоть что-то знала, а слово «Санторини» я вообще услышала в первый раз. Но тут меня удивил Алекс – он пришел в полный восторг, сказал, что

читал про этот остров, что он представляет собой остаток погибшей Атлантиды, и через два дня, поболтавшись по Афинам, сели на корабль и через семь часов оказались на Санторини. Замечу тебе, что Афины не произвели на меня особого впечатления, скорее разочаровали. Здесь древняя история находится в полном отрыве от современной жизни: торчат античные обломки – пара таких колонн прямо перед окнами гостиницы, а вокруг все застроено паршивыми пятиэтажками, – моя подруга Зоя живет точно в такой возле Тимирязевской академии в Москве. И народ, на мой взгляд, не имеет ничего общего с теми древними греками, о которых написано у Гомера. Восточный народ, больше напоминающий турок, чем европейцев. В Израиле, в отличие от Греции, есть ощущение, что продолжается именно та самая жизнь, которая когда-то была, что она не исчезла, и даже люди все те же самые – носы, и глаза, и голоса. Такое мимолетное впечатление.

Но когда мы подплыли к острову Санторини, у меня просто перехватило дух. Остров в форме узкого серпа, посреди большого залива – остаток кратера вулкана, говорят, он не совсем потухший, временами из него что-то выбивается. Раз в сто лет, что ли... Мы подплыли к отвесному берегу, метров четыреста вверх, а наверху город Фира, маленькие белые домики. Такая же отвесная стена – вниз на огромную глубину. Представь, это внутренняя стена взорвавшегося три с половиной тысячи лет назад вулкана. Остров состоит из остатков вулкана и остатков собственно острова, они как будто бы сплывались вместе. Мы здесь уже третий день, а у меня все еще не проходит это чувство, что дыхание перехватило и не отпускает. Островок крохотный – мы взяли машину и в первый же день объехали весь.

В который раз я оценила Гришу – он знает абсолютно все. Рассказывает и показывает какие-то геологические пласты, как они проходят. Потом полдня сидел и что-то вычислял на бумажке, злился, что не взял компьютера. Сказал, что действительно, приливная волна могла дойти до Крита и разрушить Кносский дворец. Не знаю, правда, зачем это надо было вычислять, если об этом во всех путеводителях написано. Ты знаешь, я всегда была любительницей путешествий, а теперь твердо уверена, что нет на свете лучшего занятия. Мне очень жаль, что ты не смогла с нами поехать. Ты должна здесь побывать **ОБЯЗАТЕЛЬНО**.

Ты знаешь, что я больше люблю прогулки по магазинам, чем по лесам-горам, но здесь что-то особое: я впервые почувствовала, просто своими глазами увидела, величие Творца. В обычной жизни этого не чувствуешь, а тут как будто глаза

открываются. Я даже в Израиле этого не ощущала. Правда, там все открытия касаются истории, которую начинаешь видеть как реку, берега которой постоянно меняются, а она течет, как ни в чем не бывало. А здесь – природа такой мощи, что она сама по себе исключает возможность того, что Бога нет. Я глупости пишу, но ты меня, конечно, поймешь. Здесь рука Господа, и этого нельзя не видеть. Именно Творца, которому нет дела до мелких распрей людишек по поводу того, как правильно веровать. Жаль, что твой муж уже не сможет этого увидеть. Еще меня восхищают мои мальчики – Гришка с Алексом. Они облазали здесь каждый камень. Я больше сижу на балконе и смотрю по сторонам. Или на пляже – песок, между прочим, вулканического происхождения, почти черный. Но на другом пляже есть и красный, и белый. Волшебство. А мальчики мои накупили книжек и учат греческий язык! Алекс говорит, что хочет выучить еще и древнегреческий.

Тем временем у нас с Гришей образовался какой-то медовый месяц, и все вместе взятое делает меня счастливой, как никогда в жизни. Я тоже накупила множество книжек и открыток, Алекс непрестанно щелкает новым аппаратом, так что со временем получишь полный отчет. Я лежу на жарком солнце в полуденные часы, когда все нормальные люди уходят, – а у меня только через три дня прошло ощущение вечного холода в спине.

Целую тебя. Мне ужасно жалко, что ты с нами не поехала. Я уверена, что если бы ты была здесь, то было бы еще лучше. Твоя Эва.

P.S. Когда я думаю, что вместо этой волшебной поездки я должна была бы сидеть возле матери в Хайфе и слушать ее проклятия, мне немного стыдно. Но вместе с тем не жалею.

16. 1960 г., Акко.

Из дневника Жюльена Сомье

Вчера вечером позвонил мужчина, спросил, не могу ли я давать ему уроки арабского языка. Срочно. Меня это очень позабавило – срочное изучение арабского языка. Просил начать немедленно, прямо сейчас. Я попросил его приехать все-таки не сию минуту, а хотя бы завтра. Сегодня довольно рано

утром, на час раньше назначенного времени, стук в дверь. Стоит в дверях монах в коричневой рясе кармелита – маленького роста, круглые карие глазки, улыбается как ясное солнышко. Представился – брат Даниэль. И сразу начал меня благодарить: как это прекрасно, что я не отказал ему.

Я еще не выпил кофе, предлагаю ему немного подождать с занятиями, а сначала выпить кофе. Да, да, конечно! Говорим мы на иврите. Он рассказывает, что около года назад приехал в Израиль из Польши, что у него есть небольшая группа католиков, для которых он сюда и приехал. Своего здания у их общины нет, но одна арабская церковь согласна предоставить им свое помещение для богослужений в определенные часы.

– Они такие славные люди, эти арабы, и я почувствовал, что, живя в Хайфе, где столько арабов-христиан, как-то неловко не знать арабского. Я всю жизнь языки изучал на бегу, со слуха или по учебнику, но арабский все-таки требует хоть какого-то вводного курса, занятий шесть-восемь, – говорит он быстро, энергично, весело.

Я смотрю на него с изумлением: наивность, самонадеянность или глупость? Когда я, головы не поднимая, начал изучать арабский язык, только на третий год занятий стал понимать устную речь, а он хочет шесть-восемь уроков. Но я промолчал.

Сначала он показался мне довольно болтливым, потом я догадался, что у него легкая форма иерусалимского синдрома: это возбуждение, которое испытывает каждый верующий человек, вне зависимости от его конфессии, когда оказывается впервые в Израиле. Когда я в 47-м приехал сюда впервые, у меня было острейшее ощущение огня под ногами. Мне физически жгло ступни. Могу себе представить, насколько это чувство острее у евреев, если у меня, француза, это возбуждение не проходило несколько месяцев.

Я дал ему сдвоенный урок – он довольно быстро усваивает звуки. Такое впечатление, что он очень одарен лингвистически. Уходя, он сказал мне, что сейчас у него нет денег, чтобы платить за уроки, но он непременно рассчитается со мной при первой же возможности. Это самый оригинальный частный ученик из тех немногих, что у меня за эти годы были. Да! Увидел карточки на столе – спросил. Я сказал, что занят составлением ивритско-арабского словаря, и меня интересует в особенности палестинский диалект. Он ручки раскинул и бросился целоваться. Роста он премаленького – еле достает мне до плеча. Очень

экспансивный человек. Но проникательный – уходя, спросил: ты не монах?

– Я – учитель французского языка в арабской католической школе для девочек, – сказал я ему, а что состою в общине «малых братьев», умолчал.

– О, французский! – обрадовался он. – Это просто прекрасно! Мы еще немного будем заниматься французским!

Неужели во мне издали видно монаха? Никогда не приходило это в голову.

17. 1963 г., Хайфа.

Письмо Даниэля Штайна Владиславу Клеху

Дорогой Владек! Я попробую объяснить тебе, что происходит. Мои представления о стране, которую я заочно так любил, не совпали с реальностью ни в одной точке. Я не нашел здесь ничего из того, что ожидал найти, однако то, что я увидел, сильно превзошло мои ожидания. Я ехал в Израиль как еврей и как христианин – Израиль принял меня как героя войны, но не признал во мне еврея. Мое христианство оказалось для моего народа камнем преткновения. Все эти годы, что я здесь, я не хотел писать тебе об этой длинной судебной истории, наконец все завершилось, и я рассказываю конспективно, что происходило. Сложности с иммиграционной службой начались еще в Хайфском порту. Я считал, что имею право приехать в Израиль по закону о возвращении, который был написан для евреев, желающих приехать в Израиль из любой страны мира, где они проживали до создания государства, на постоянное место жительства. И в этом случае евреем считался каждый, кто рожден от матери-еврейки и считает себя евреем. Молодой чиновник, увидев мою рясу и крест, наморщив лобик, сообразил, что я христианин. Я подтвердил его ужасную догадку и добил его, сообщив, что профессия моя – священник, а национальность – еврей. Собралась целая компания таможенных и иммиграционных мудрецов, которые долго судили и рядили, и в графе «этническая принадлежность» поставили прочерк.

Это и было началом длинной истории, которая вылилась в бесконечный судебный процесс, который длился три года и завершился месяц назад. Процесс

я проиграл. Это была нелепая морока – я просил разрешения у начальства в «Стелла Марис», они запрашивали свое руководство, потом мне разрешили подавать в Верховный суд Израиля, но надо было еще достать денег на этот процесс. Все меня отговаривали, но, ты знаешь, я упрям, а они оказались еще упрямее. Они не дали мне гражданства как еврею, но мне обещано гражданство «по натурализации». Так что скоро стану израильским гражданином, но без права называть себя евреем в Израиле. Вот приеду в Польшу или в Германию – там я для всех еврей, но только не для государства Израиль. В моем удостоверении написано: «Национальность не определена». Так что можно считать, что я одержал какую-никакую победу в борьбе с гестапо и НКВД, но потерпел полное поражение от рук израильских чиновников.

Ты, естественно, спросишь, зачем мне все это было нужно? Владек, я думал о тех евреях-христианах, которые приедут в страну после меня. Ты и представить себе не можешь, какая была шумиха вокруг этого процесса, судьи и раввины перессорились. Такой задачи я не ставил.

Я хотел бы, чтобы некоторые евреи-христиане – а их в мире немало – могли вернуться в Израиль, и восстановилась бы церковь Иакова, Иерусалимская община, ведущая свое происхождение от той последней трапезы Учителя с Учениками, которую почитают все христиане мира. Пока не получается. Но несмотря ни на что, есть небольшая группа католиков, преимущественно поляков, среди них есть и несколько крещеных евреев. Мы собираемся в арабской церкви, где наши братья дают нам возможность служить мессу в воскресенье вечером, после их службы.

Очень благодарен тебе за присылку журналов. Признаюсь, что ты – единственный для меня источник церковных новостей. В монастыре нашем живут вне времени, современные католические издания редко попадают в руки, зато библиотека полна такого рода литературой, до которой я не большой охотник. Хотя порой и бывает интересно. Ты не пишешь, как здоровье патера? Сделали ли ему операцию? Братский привет. Даниэль.

18. 1959-1983 гг., Бостон.

Из записок Исаака Гантмана

Мне попала израильская газета с новостью, возвратившей меня в памяти к событиям двадцатилетней давности. Весной 45-го года, когда мы с Эстер первым же поездом выехали из Белоруссии в Польшу, с нами ехал молодой еврей Дитер Штайн, который сыграл решающую роль в спасении части людей из Эмского гетто. То есть это был тот человек, который спас нам жизнь. Сперва мы ничего о нем не знали. Известно было только, что Штайн нам чем-то помог, что немцы его задержали, приговорили к расстрелу, но он бежал – в городах, как нам рассказывали, были расклеены листовки с его портретом: разыскивается... Была объявлена значительная сумма за его поимку.

Познакомились мы позже, когда он объявился в отряде Дурова. Там его едва не расстреляли. К счастью, меня как раз привезли в отряд, чтобы прооперировать раненого, я оказался рядом и поручился за него. Таким образом, мне удалось спасти жизнь своему спасителю.

Детали нашего разговора при встрече в поезде, спустя два года, из моей памяти выветрились. Молодой человек произвел на меня впечатление экзальтированного: говорил о поступлении в католический монастырь. Но в те времена неуравновешенность была нормой... Нормальные люди погибали в первую очередь. Выживали единицы, наделенные особой психической силой и известной грубостью – испытание это было не для тонко организованных людей. Будь я психиатром, я написал бы исследование об изменении психики в экстремальных условиях партизанского лагеря. Впрочем, это была бы только одна часть большой книги о тюрьмах и лагерях. Такая книга нужна, и ее еще напишут. Не я. Надеюсь, напишут другие.

Те психические сдвиги, которые я наблюдал в этом юноше, были направлены на «благородную» цель, и объяснялись они, вероятно, неприятием наблюдаемых видов деятельности. Неприятие это побудило его уйти в монастырь... Это было движение эскапизма.

В последующие годы я потерял Дитера Штайна из виду. Хотя кое с кем я продолжал поддерживать связи, но спорадически. Большинство уцелевших «партизанских» евреев оказалось в конце концов в Израиле и отчасти в Америке, но это все были «ам хаарец», совсем простые мужики, а я не настолько сентиментален, чтобы встречаться с ними чаще, чем раз в десятилетие.

Возвращаюсь к монаху Дитеру Штайну. Уже живя в Америке, я постоянно просматривал израильские газеты и году в шестидесятом обнаружил, что израильские газеты полны его фотографий. Оказывается, Дитер Штайн приехал на жительство в Израиль. Он поступил в монастырь «Стелла Марис» на Кармеле. И тогда же возбудил судебный процесс против государства Израиль, требуя предоставления израильского гражданства по «закону о возвращении».

В газетах эта новость тогда сопровождалась довольно удивительными дискуссиями. Я ощутил, что на этом месте прорывалось скрытое напряжение. Штайн представлял собой странный казус: с одной стороны, Штайн – герой войны, совершивший подвиг, с другой – ему еще пришлось и оправдываться, что он служил в гестапо, потому что сама по себе эта служба рассматривается как преступление.

Вдобавок к этому Штайн был католическим священником. Христианином. Живя в Израиле, я чувствовал, до какой степени единство и жизнь страны определяются дружным сопротивлением окружающему арабскому миру. В статьях проскальзывал еще один мотив, который обычно предпочитают не формулировать вслух: само существование Израиля не гарантировано ничем, кроме постоянного сопротивления угрожающему арабскому миру. К этому добавляется еще одно обстоятельство, о котором умалчивают из соображений политической вежливости – по глубокой убежденности евреев, произошедшая Катастрофа созрела в недрах христианской цивилизации и выполнена руками христиан. Хотя нацистское государство и отделяло себя от церкви, и многие христиане не только не одобряли убийство евреев, но и спасали евреев, но никуда нельзя уйти от факта, что двухтысячелетнее официальное христианство хотя и руководствовалось заветами христианской любви, но несло в себе неистребимую ненависть к евреям. Поэтому Штайн, принявший христианство, рассматривается многими евреями как предатель национальной религии, перешедший на сторону «чужих».

Штайн же, со своей стороны, требовал израильское гражданство согласно закону о возвращении. Закон предоставляет такое право каждому, кто считает себя евреем и кто рожден от еврейской матери. Штайн получил тогда немотивированный отказ, после чего обратился в Верховный суд.

Казус был в том, что гражданство ему предоставляли, но не по закону о возвращении, а через натурализацию. Он же требовал признания своего еврейства, то есть требовал формальной записи «еврей» в графе «этническая

принадлежность», что полностью соответствует еврейскому закону, Галахе.

Все это наводит на размышления о том, что гражданские законы должны быть четче отделены от религиозных и что имеет место нестыковка теократических идеалов с демократическим устройством современного государства.

Мы покинули Израиль до начала процесса Штайна, и он как-то выпал из моего поля зрения. Процесс шел несколько лет, и вот вчера я прочитал в израильской газете, что в конце концов Штайн проиграл судебное дело. Это представляется мне верхом идиотизма: если нашелся один католик, который хочет быть евреем, почему бы ему этого не разрешить?

Хотелось бы знать, симметрична ли эта ситуация с христианской стороны и желательное ли лицо Штайн в среде католической.

19.

Февраль, 1964 г., Иерусалим.

Письмо Хильды Энгел священнику Даниэлю Штайну

Дорогой отец Даниэль! Вы меня, скорее всего, не помните. Меня зовут Хильда Энгель. Мы встретились в киббуце в Изреельской долине, где я работала и учила иврит, а вы привезли группу и ночевали в киббуцной гостинице. Я кормила вашу группу – меня обычно запоминают, потому что я выше всех ростом. Сразу вам скажу, что пишу я по той причине, что хочу с вами работать. Я очень много думала о том, что вы говорили после ужина, когда мы собрались в столовой, и это как раз то, что я ищу. Сразу я вам не написала, потому что поняла, что, если я не буду иметь соответствующей специальности, я буду вам плохим помощником. Я закончила в Мюнхене курсы приходских служащих – там готовят помощников священников и социальных работников для церкви – и снова вернулась в Израиль. Пока я нахожусь в миссии в Иерусалиме, здесь у меня почти канцелярская работа, и конечно, не ради этого я так рвалась сюда, в

Израиль.

Так получилось, что я о вас знаю много, а вы про меня ничего. Поскольку нам предстоит работать вместе, я сейчас все о себе расскажу, это важно.

Моя семья родом из Восточных земель. До сих пор недалеко от границы с Польшей, под городом Шведт, разрушается поместье моего прадеда. Он был богатый и знатный человек с политической карьерой. Дед мой во времена Рейха был генералом, членом нацистской партии. Он был военный специалист, даже ученый. Во всяком случае, я знаю, что он имел отношение к немецкому ракетному вооружению. Я ношу фамилию моего отца и фамилии моего деда очень долго даже не знала. Мать мне никогда ничего не говорила. Отец мой погиб на Восточном фронте в 44-м году. После войны мать уехала в Западную Германию, вышла замуж за моего отчима, и у меня есть еще трое полубратьев. С одним из них меня связывает дружба, двое других – совершенно чужие люди. Как и отчим. Прошрое его мне неизвестно, он торговец и человек недалекий. Все мое детство прошло в молчании. У нас в семье вообще ничего не говорили. Боялись вопросов, боялись ответов. Молчание было всего удобнее. По воскресеньям нас водили в церковь, но и там не завязывалось никакого общения. В маленьком городке под Мюнхеном, на берегу Старнбергского озера, где отчим купил большой дом в начале пятидесятых годов, жило очень много людей, которые не хотели говорить о своем прошлом. Когда мне было четырнадцать лет, мне в руки попала книга Анны Франк. Я и до этого знала об уничтожении евреев. То есть что-то слышала вполуха, но сердце мое было совершенно глухим. А эта книга разбила мне сердце. Я чувствовала, что не должна ничего спрашивать у матери. Тогда я стала читать.

Позже я все-таки спросила у нее, что делала наша семья для спасения евреев. Мать сказала, что ей так трудно жилось во время войны, что было не до евреев. И вообще она ничего не знала тогда ни о лагерях, ни о газовых печах. Я пошла в городскую библиотеку, и оказалось, что там множество литературы и кинофильмов. Более того, оказалось, что недалеко от Мюнхена был огромный лагерь уничтожения Дахау. Больше всего меня потрясло то, что там живут люди, спят, едят, смеются – и ничего!

Потом к нам приехала в гости мамина двоюродная сестра из Шведта, и от нее я узнала, что дед мой покончил самоубийством за неделю до капитуляции Германии. Она же и назвала мне фамилию деда. Если бы он не застрелился, его бы, наверное, повесили как военного преступника. Тогда я поняла, что хочу

посвятить свою жизнь помощи евреям. Конечно, историческая вина немцев огромна, я как немка разделяю ее. Я хочу работать теперь на государство Израиль.

Я католичка, участвовала в детском церковном движении, и когда я попросилась на эти церковные курсы, мне тут же дали рекомендацию. Теперь я их закончила, прошла практику по работе с трудными детьми и работала три месяца в хосписе. Опыт у меня небольшой, но я готова учиться. У меня также есть некоторые навыки в бухгалтерской работе и уже довольно приличный иврит. Я не решилась писать вам на иврите, потому что не хотела, чтобы вы получили письмо с ошибками, к тому же все-таки мне гораздо проще выражать свои мысли по-немецки.

Мне двадцать лет. Я физически сильная. Я могу работать и с детьми, и со стариками. У меня нет хорошего образования. Когда-то я думала поступать учиться в университет. Но теперь мне кажется, что это не обязательно. Я жду вашего ответа и готова немедленно приехать в Хайфу, чтобы начать работать с вами. С уважением, Хильда Энгель.

Март, 1964 г., Хайфа.

От Даниэля Штайна – Хильде Энгель

Дорогая Хильда! Ты мне написала по-немецки, а я отвечаю на иврите: будет тебе упражнение. Ты мне написала очень хорошее письмо, я все понял. Я был бы рад с тобой работать, но у нас очень маленький приход, совсем нет денег, чтобы платить зарплату. А без зарплаты как ты здесь проживешь? Сам я живу в монастыре. А тебе пришлось бы снимать квартиру. Поэтому я думаю так: если у тебя в миссии будет свободное время, ты всегда можешь приехать в Хайфу на службу, познакомиться с нашими прихожанами, пообщаться с ними. Обычно после службы мы проводим вместе несколько часов – небольшая трапеза, иногда совместное чтение Евангелия, потом разные беседы. Позвони мне по телефону, когда соберешься ехать, и я тебя встречу на автостанции. Иначе ты нас не найдешь, это непростое дело. Господь с тобой. Брат Даниэль. Я предпочитаю такое к себе обращение, не возражаешь?

Май, 1964 г., Иерусалим.

От Хильды Энгель – Даниэлю Штайну

Дорогой брат Даниэль! Моя мама всегда говорила, что мое упрямство прошибает стены. Я написала в наше мюнхенское управление, потом позвонила еще раза три, и они обещали мне, что постараются сделать так, чтобы моя штатная единица (помощник пастора) была переведена из Иерусалима в Хайфу. Я сказала, что выучила иврит, но не знаю арабского, и это создает трудности общения с местными католиками, которые исключительно арабы. Обещали с ответом не задерживать, но просят от тебя письма, что я тебе действительно нужна в твоей церкви. Ниже ты найдешь адрес, по которому тебе надо написать, и тогда через месяц я буду в Хайфе. Ура! Хильда.

Да! Я звонила матери, сказала, что я теперь буду работать помощником священника в еврейской церкви, и она сказала, что я сумасшедшая! Она решила, что я иду работать в синагогу! Я оставила ее в заблуждении и не стала ничего объяснять. Пусть так и думает.

Июнь, 1964 г., Хайфа.

От брата Даниэля – Хильде Энгель

Деточка! Ты забыла половину своих вещей – свитер, один ботинок (а второй, интересно, был у тебя на ноге или у тебя была еще пара обуви в запасе?), учебник иврита, а также детективный роман на английском языке и очень плохого качества. Собрав все эти вещи в кучку, я решил, что быть помощником священника – твое подлинное призвание. С любовью, брат Д.

20. Ноябрь, 1990 г., Фрайбург.

Мы знаем, что многие современные христиане не совершают совместных богослужений, потому что исторически они разделились из-за богословских разногласий. Когда-то единая церковь была разделена на три главные – католическую, православную и протестантскую. Но есть еще множество малых церквей, некоторые насчитывают всего несколько сот членов, но с другими христианами у них нет литургического общения – они не молятся вместе, не совершают совместных богослужений. Такие расколы в среде христиан – схизмы – иногда были очень острыми и даже приводили к религиозным войнам.

У евреев тоже был такой раскол в конце XVIII века. Тогда возникло два течения – хасидов и традиционалистов – митнагдим. Они друг друга не признавали, хотя до войны дело никогда не доходило. Еврейские жители Польши принадлежали главным образом к хасидскому миру, а Вильно (так тогда называли Вильнюс) оставался городом «традиционным». Хасиды были мистиками, впадали в молитвенный экстаз, к тому же придавали большое значение изучению Каббалы и ожидали скорого прихода Мессии. Последнее роднит хасидов с некоторыми христианскими сектами.

Вильно в последние два столетия был столицей евреев традиционного направления. До сегодняшнего дня различия в этих течениях интересуют только религиозных евреев. Но нацистов эти тонкости совершенно не интересовали – они поставили перед собой задачу уничтожить всех евреев – хасидов, митнагдим и вообще неверующих. Это был этнический геноцид.

Когда мы, молодые евреи с польской окраины, в декабре 39-го года попали в город Вильно, он предстал не только большим городом европейского государства, но еще и столицей западного еврейства. Его часто называли в те годы «литовский Иерусалим». Население состояло почти наполовину из евреев.

Когда мы туда попали, Вильно по пакту Риббентропа-Молотова как раз отошло к Литве, и литовцы начали вытеснять поляков. Это был короткий период независимости Литвы, и нам казалось, что наша мечта сбывается: скоро мы попадем в Палестину. Мы не понимали, что попали в ловушку, которая вот-вот захлопнется. В июне 1940 года Литву оккупировала Красная Армия, еще через полтора месяца Литва вошла в состав Советского Союза. В июне 1941 года Вильно было занято войсками вермахта. Но мы не могли предвидеть такого

поворота событий.

Вильно нам очень понравился, мы поднялись на гору Гедиминаса, погуляли по еврейским кварталам и прошли по набережным. Город имел особый запах, с оттенком печного дыма. Угля почти не было, город топили дровами. Кстати, благодаря этому мы нашли работу: в первую зиму мы зарабатывали на жизнь тем, что кололи дрова и разносили их по квартирам, на верхние этажи вильнюсских домов.

В городе еще работали разные еврейские организации, в том числе и сионистские, и мы сразу с ними связались. Для выезда в Палестину надо было получить специальный сертификат. Их выписывали бесплатно тем, кто не достиг восемнадцати лет. Шансы моего брата на выезд были неплохи, а мои – очень низки. Ему было шестнадцать лет, а мне уже исполнилось восемнадцать.

Надо было как-то выживать, дожидаясь сертификата. Мы организовали киббуц – общину, в которой все вместе работают и не имеют личного дохода. Как в монастыре. Поселились мы в довольно просторном доме, у каждой группы была своя комната, единственная у нас девушка вела хозяйство, все остальные работали, и работа порой была очень тяжелой. Сначала я вместе со всеми работал дровосеком, а потом мне предложили пойти в ученики к сапожнику. Сапожник был очень бедным, с кучей детей, и я проводил у него почти весь день: после работы оставался с детьми, помогал им готовить уроки. Но сапожному делу я научился и до сегодняшнего дня сам чиню свои сандали.

Наладилась связь с нашими родителями – через Красный Крест. Мы списались с ними. После расставания они вернулись домой, но их тут же переселили в другую область Польши. Красный Крест пересылал письма. Последний раз родителей видели живыми наши двоюродные братья, некоторое время они жили все вместе в одном местечке. Потом вестей не стало. Мы точно не знаем, в каком из лагерей смерти они погибли.

В последнем письме от матери, которое до нас дошло, она умоляла нас ни в коем случае не расставаться.

Но мы расстались: брат получил сертификат на выезд в Палестину. Он уехал туда по очень опасному маршруту – через Москву и Стамбул. Это произошло в январе 1941 года. Тяжелое расставание – никто не знал, встретимся ли мы

когда-нибудь.

С отъезда брата события развивались самым драматическим образом: 22 июня 1941 года началась русско-германская война. Через час после объявления войны началась бомбардировка. Через три дня русские сдали город.

Нас в этот момент в городе уже не было, мы решили уходить, и уже отошли от города километров на шестьдесят, пока не обнаружили, что находимся на территории, занятой немцами.

Вернулись в Вильно. Узнали удручающие вещи: в день, когда Красная Армия покинула Вильно, стихийно организовались литовские банды, которые начали убивать евреев еще до взятия города немцами. Впоследствии в состав немецких карательных отрядов вступила большая группа литовцев.

Вступили в действие антиеврейские законы: конфискация собственности, запрещение появляться в людных местах, запрещение ходить по тротуарам. Наконец, потребовали обязательного ношения отличительного знака – звезды Давида. Начались аресты.

Я в то время был так наивен, что не мог поверить, будто у немцев существует продуманная система по уничтожению евреев. Меня воспитали в уважении к немецкой культуре, и я спорил с друзьями, убеждая их, что отдельные факты насилия и издевательства – следствие беспорядка. Я просто не мог в это поверить. Все происходящее казалось нелепостью и ошибкой. Я твердил: «Этого не может быть! Не верьте сплетням! Немцы скоро наведут порядок!»

Действительно, настоящего немецкого порядка мы еще не видели!

Начались облавы на евреев на улицах города, люди исчезали. Поползли слухи о расстрелах. Я полностью отвергал очевидное.

Все сионистские организации, которые еще оставались в городе, были разогнаны. О Палестине можно было забыть. Я решил разыскать родителей через Красный Крест и пробиваться к ним. По дороге в приемную Красного Креста я попал в очередную облаву на евреев, и меня арестовали.

С этого первого задержания 13 июля 1941 года до конца войны я мог быть убит каждый день. Даже можно сказать, что я много раз должен был погибнуть. Каждый раз чудесным образом я бывал спасен. Если человек может привыкнуть к чуду, то за время войны я привык к чуду. Но в те дни чудеса моей жизни только начинались.

Что вообще называют чудесами? То, чего прежде никто не видывал, что никогда не случалось? То, что выходит за пределы нашего опыта? Что противоречит здравому смыслу? Что маловероятно или случается так редко, что такому событию нет свидетелей? Например, в середине июля в городе Вильно вдруг выпал бы снег – это чудо?

Исходя из моего опыта, я могу сказать: чудо узнается по той примете, что его творит Бог. Значит ли это, что чудеса не происходят с неверующими? Не значит. Потому что ум неверующего человека так устроен, что он будет объяснять чудо естественными причинами, теорией вероятности или исключением из правил. Для верующего человека чудо – это вмешательство Бога в естественное течение событий, и ум верующего человека радуется и наполняется благодарностью, когда чудо происходит.

Атеистом я никогда не был. Осознанно молиться начал лет в восемь, и просил я у Бога, чтобы он послал мне учителя, который научил бы меня правде. Я представлял себе учителя красивым, образованным, с длинными усами, похожим на президента Польши тех лет.

Такого усатого учителя я не встретил, но Тот, Кого я встретил и Кого я называю Учителем, долгое время разговаривал со мной именно на языке чудес.

Но, прежде чем научиться читать на этом языке, надо было научиться различать его буквы. Задумался я об этом после первой облавы, когда нас с другом схватили на улице.

Из полицейского участка группу задержанных евреев повели на работу – колоть дрова в немецкой пекарне. Впервые на моих глазах два немецких солдата едва не насмерть забили молодого человека, который плохо колол поленья. Мы с приятелем еле дотащили его до двора тюрьмы Лукишки, куда нас загнали после длинного рабочего дня. Двор был забит евреями – одни мужчины. Потом у нас отобрали вещи и документы и велели всем ответить на анкетные вопросы. Когда

спросили, кто я по специальности, я колебался, что говорить: дровосек или сапожник. Подумав, я решил, что сапожник я более умелый, чем дровосек. Так и сказал. И тут произошло чудо. Офицер крикнул: «Эй, отдайте Штайну вещи и документы!»

Меня вывели на лестницу. Потом присоединили еще несколько человек. Все они были сапожники. Сапожники, как потом выяснилось, понадобились гестапо по той причине, что у еврейских торговцев конфисковали большой склад кожи, и местное немецкое начальство решило распорядиться с этой кожей по-хозяйски – не отправлять в Германию, а сшить себе обувь. Из тысячи человек, задержанных в той уличной облаве, только двенадцать сапожников. Мне позже сказали, что всех остальных расстреляли. Я не поверил.

Кожи было так много, что работа сапожников затягивалась. Первые шесть недель нас не выпускали из тюрьмы, а потом выписали пропуск с печатью гестапо и отпустили по домам. Теперь мы должны были приходиться в тюремную обувную мастерскую на работу.

Однажды, когда я возвращался домой, какой-то крестьянин на телеге предложил подвезти. Я не подозревал тогда, что встреча с этим человеком – Болеслав Рокицкий его звали – сама по себе чудо. Мы ведь знаем, как много людей, на чьей совести погубленные жизни. А он был из тех кто спасал. Но я тогда мало что понимал.

Болеслав жил на хуторе в двух километрах от Понар. Он сказал мне, что в противотанковых рвах, выкопанных красноармейцами перед отступлением, уже похоронили около тридцати тысяч евреев. Расстрелы идут круглосуточно. Я опять не поверил.

Болеслав предложил мне перебраться к нему в усадьбу, где, как он считал, самое безопасное место.

– На еврея ты не похож, говоришь по-польски как поляк. На тебе же не написано, что ты еврей... Объявишься поляком.

Я отказался. У меня была немецкая справка с печатью, что я работаю сапожником в гестапо, и я считал, что она сохранит меня.

Через несколько дней, возвращаясь с работы, я опять попал в облаву. Перекрыли улицу и всех проходящих в толпе евреев загоняли в закрытый внутренний двор, каменный мешок с единственным входом – тяжелыми металлическими воротами. Облаву проводили литовские охранники в нацистской форме. Они отличались особой жестокостью. Вместо оружия у них были деревянные дубинки, и они прекрасно ими орудовали. Я подошел к литовцу-офицеру и протянул свою бумагу. И объяснил, на кого я работаю. Он порвал мой драгоценный пропуск и вlepил мне пощечину.

Всех евреев загнали во двор, ворота заперли. Дома, образующие внутренний двор, были пустыми, людей из них уже выселили. Некоторые попытались укрыться в пустых квартирах, кто-то полез в подвал. Я тоже решил спрятаться и полез в подвал. Как и во многих виленских домах, в подвалах были кладовые для хранения овощей, разделенные на отсеки. Я нащупал в темноте какую-то дверку, но она оказалась заперта. Тогда я раздвинул доски и проскользнул внутрь. Овощей никаких там не было, все маленькое помещение было завалено старой мебелью. Я спрятался.

Через несколько часов приехали грузовики, раздались слова немецких команд. Потом появились немцы с фонарями и начали поиски. Это сильно напоминало игру в прятки, только у проигравшего не было шанса отыгаться. Через щели между досок на меня брызнул свет.

– Здесь висит замок. Пошли. Больше никого нет, – услышал я, и луч фонарика исчез.

– Смотри-ка, здесь щель между досками, – ответил второй.

Никогда еще я так горячо не молился Богу.

– Ты смеешься? Сюда и ребенок не пролезет...

Ушли. В полной тишине я сидел час, другой. Я понимал, что надо как-то выбираться. Немецкий документ, выданный в гестапо, порвал литовский офицер. Оставалась только ученическая карточка, полученная в 1939 году. Национальности нам не писали, стояло только имя – Дитер Штайн. Обычное немецкое имя. Я сорвал с рукава желтую звезду. Я принял решение: еврей остался в этом подвале. На поверхность выходит немец. Я должен вести себя

так, как ведут себя немцы. Нет, поляки. Отец немец, мать полячка – так будет лучше. И родители умерли...

Я выбрался во двор. Уже светало. Как кошка, прижимаясь к стенам дома, я прокрался к воротам. Они были заперты. К тому же навешены они были так близко к каменной кладке стены, что протиснуться в щель было невозможно. Камни тесно пригнаны один к другому. Без инструмента не выбить. Но инструмент у меня был с собой – небольшой сапожный молоток с гвоздодером на ручке! При входе во двор всех обыскивали, но молотка не нашли в сапоге. «Чудо, – подумал я. – Еще одно чудо».

Минут за пятнадцать я выбил два небольших камня. Образовавшееся отверстие было маленьким, но для меня достаточным. Я и сейчас, как видите, не очень крупный человек, а в те годы и пятидесяти килограммов не весил. Я проскользнул в щель и оказался на улице.

Было раннее утро. Из-за поворота вышел совершенно пьяный немецкий солдат в сопровождении толпы мальчишек, которые над ним издевались. Я спросил у него по-немецки, куда он направляется. Он протянул листок с адресом гостиницы. Я отогнал мальчишек и поволок пьяного немца по указанному адресу. Немец бормотал что-то невнятное, и из его бессвязного рассказа следовало, что он сегодня ночью участвовал в акции по уничтожению евреев.

Я должен вести себя так, как будто я немец. Нет, поляк... И я молчал.

– Полторы тысячи, ты понимаешь, полторы тысячи... – Он остановился, его начало рвать. – Мне нет до них дела, но почему я должен этим заниматься? Линотипист, понимаешь ли, я линотипист... Какое мне дело до евреев?

Он не был похож на человека, которому понравилось расстреливать.

В конце концов я довел его до гостиницы. Никому и в голову не могло прийти, что пьяного немецкого солдата ведет еврей.

Вечером того же дня я разыскал ферму Болеслава. Он принял меня очень тепло. На ферме укрывались двое русских военнопленных, сбежавших из лагеря, и еврейская женщина с ребенком.

Ночью, лежа в чулане, накормленный, в чистой одежде, а главное, с ощущением безопасности, я был полон благодарности Богу, который потратил столько времени, чтобы вытащить меня из этой мышеловки.

Я быстро заснул, но через несколько часов проснулся от автоматных очередей. Они раздавались со стороны Понар, и теперь я уже не сомневался, что именно там происходит. Очень многое из того, с чем мне предстояло столкнуться, нормальное человеческое сознание не может принять. То, что происходило в нескольких километрах, было еще более немыслимо, чем любое чудо. У меня был личный опыт чуда как сверхъестественного добра. Теперь я переживал мучительное чувство, что нарушаются высшие законы жизни и творящееся зло сверхъестественно и противоречит всему мироустройству.

Несколько месяцев я прожил на ферме у Болеслава, работал в поле вместе с другими наемными рабочими. В середине октября немцы выпустили закон, карающий смертной казнью тех, кто укрывал евреев.

Я не хотел подвергать Болеслава опасности и решил уходить. Вскоре подвернулся случай: местный ветеринар, которого вызвали принимать роды у коровы, предложил мне перебраться в Белоруссию, где его брат жил в такой глуши, что немцы там не появлялись.

Настал день, когда я вышел на шоссе. Было очень страшно. Я шел и думал о том, что если мне не удастся победить страх, я не выживу. Мой страх меня выдаст. Это был еврейский страх – страх быть евреем, выглядеть евреем. Я подумал, что, только перестав быть евреем, я смогу выжить. Я должен стать таким, как поляки и белорусы. Внешность моя была достаточно нейтральной, к тому же изменить ее я все равно не мог. Изменить я мог только свое поведение. Я должен вести себя как все.

Шоссе было заполнено немецкими машинами, время от времени мужчины голосовали, иногда их подсаживали. Женщины шли пешком. Они боялись голосовать. Я поборол страх и проголосовал. Остановился немецкий грузовик.

На третий день я добрался до места. Глухая белорусская деревня.

Но немцами она не была забыта: за неделю до моего приезда здесь были расстреляны все местные евреи. В самом большом строении располагалась

школа, которую потеснили – отдали часть полицейскому участку. Там же в одной из комнат был склад, где хранили одежду. Ту, что забрали у еще живых и сняли с уже убитых.

Полицейские были в основном белорусы. Поляков было меньше, потому что в 40-м и в начале 41-го года около полутора миллионов поляков из восточных областей было депортировано в Россию.

В полицейском участке, куда я пришел через день, чтобы получить разрешение на проживание в деревне, меня принял полицейский секретарь, поляк, и моя легенда о родителях не вызвала у него подозрения. Мое ученическое удостоверение, единственный документ, было безупречным, а национальность в нем не указана. Польский язык был действительно для меня родным. В этом участке я получил новые документы, в которых значилось, что мой отец немец, а мать полячка. Я даже имел теперь право стать фольксдойчем, то есть этническим немцем. Но я не воспользовался этой привилегией. Моей привилегией оказалось знание немецкого языка.

Так я легализовался. На первых порах меня кормило сапожное ремесло. Денег не давали, расплачивались продуктами. Через некоторое время мне предложили должность уборщика в школе и комнатку в школьном здании. Соседнюю комнату занимал начальник полиции. В мои обязанности входила уборка, рубка дров и топка печей. Вскоре к моим обязанностям добавилось преподавание немецкого языка школьникам.

Начались морозы. Теплой одежды у меня не было. Однажды полицейский секретарь, в ведении которого был склад, предложил мне приодеться и открыл дверь забитой одеждой комнаты. Я испытал ужасное чувство – это были вещи убитых немцами евреев. Мне страшно было к ним прикоснуться. Что было делать? Я помолился, мысленно поблагодарил моих убитых соплеменников и взял поношенный овчинный тулуп и еще несколько вещей. Я не знал, долго ли мне еще суждено носить эту одежду.

Когда приезжало немецкое начальство, меня вызывали переводить. Я очень беспокоился – понимал, что мне надо как можно дальше держаться от немцев. Однажды в участок приехал начальник окружной полиции Иван Семенович. Это была белорусская организация, в подчинении немцев, называлась она «Белорусская вспомогательная полиция германской жандармерии в оккупированных областях», и о ее начальнике шла дурная молва – он славился

пьянством и жестокостью. С ним приехал и какой-то немецкий чин, и меня попросили переводить. Вечером Семенович вызвал меня и предложил остаться при нем – личным переводчиком и учителем немецкого языка.

Я не хотел работать на полицию. Для принятия решения у меня была ночь. Страшно подумать – мне, еврею, сотрудничать с полицией. Но уже тогда мне пришло в голову, что, работая с Семеновичем, я, наверное, смог бы спасти кого-то из тех, за кем охотится полиция. Сделать хоть что-то для людей, нуждающихся в помощи. Белорусы были очень бедным и забитым народом, боялись начальства, и даже такая ничтожная должность, как переводчик в белорусской полиции, в их глазах была значительна. Эта должность давала некоторое влияние.

И я принял решение работать на Семеновича и, как ни странно, почувствовал облегчение: даже на этой маленькой должности я мог быть полезен местным жителям, тем, кто нуждался в помощи. Многие просто не понимали, что от них требуют, и из-за этого подвергались наказаниям. Эта возможность возвращала мне достоинство, и только таким образом, делая что-то для других, я мог спасти свою совесть, свою личность. С первой же минуты новой службы я понимал, что малейший промах грозит мне смертью.

Я начал исполнять обязанности переводчика между немецкой жандармерией, белорусской полицией и местным населением. Я снял с себя последнее «еврейское наследство» – одежду расстрелянных евреев с полицейского склада. Теперь я надел черный полицейский мундир с серыми манжетами и воротником, галифе, сапоги и черную фуражку, но без изображения черепа. Мне даже выдали оружие. Черная форма была у частей СС, наша отличалась только серыми манжетами и воротником.

Так фактически я стал немецким полицейским в чине унтер-офицера. Я поступил на военную службу в том чине, в котором закончил ее мой отец. Никто не мог предвидеть такого поворота судьбы. Был декабрь 41-го года. Мне было 19 лет. Я был жив, и это было чудо.

21. Июнь, 1965 г., Хайфа.

Доска объявлений в приходе арабской католической церкви Успения Пресвятой Девы Марии в Хайфе(Объявления на иврите и на польском)

ДОРОГИЕ ПРИХОЖАНЕ!

15 ИЮНЯ В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА БУДЕТ ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
АМЕРИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЕВРЕИ ЗА ИИСУСА».

ХИЛЬДА

* * *

ДОРОГИЕ ПРИХОЖАНЕ!

ОРГАНИЗУЕТСЯ СЕМЕЙНАЯ ПОЕЗДКА В ТАБХУ В ДЕНЬ ПРАЗДНИКА ПЕТРА И ПАВЛА.
СБОР ВОЗЛЕ ЦЕРКВИ В 7 ЧАСОВ УТРА.

ХИЛЬДА

* * *

ДОРОГИЕ ПРИХОЖАНЕ!

ДЛЯ ВНОВЬ ОРГАНИЗОВАННОГО ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ ТРЕБУЕТСЯ ОБОГРЕВАТЕЛЬ,
РАСКЛАДУШКА И НЕСКОЛЬКО КАСТРЮЛЬ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА.

ХИЛЬДА

ДОРОГИЕ ПРИХОЖАНЕ!

ЗАНЯТИЯ И ЧТЕНИЯ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ ОТМЕНЯЮТСЯ ИЗ-ЗА ОТЪЕЗДА БРАТА
ДАНИЭЛЯ. ВМЕСТО НЕГО К НАМ ПРИЕДЕТ ПРОФЕССОР ИЕРУСАЛИМСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ХАИМ АРТМАН И БУДЕТ РАССКАЗЫВАТЬ О БИБЛЕЙСКОЙ
АРХЕОЛОГИИ. ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО.

ХИЛЬДА

* * *

ЕСТЬ ДВУХЭТАЖНАЯ ДЕТСКАЯ КРОВАТКА. ЕСЛИ КОМУ-НИБУДЬ НУЖНО,
ОБРАЩАТЬСЯ К ХИЛЬДЕ.

* * *

ДЕТСКИЙ ЧАС – ЗАНЯТИЯ РИСОВАНИЕМ.

ХИЛЬДА

22. 1964 гг., Хайфа.

Письмо Даниэля Штайна Владиславу Клеху

Дорогой брат! Долго не отвечал на твое письмо и не поблагодарил за присылку журналов. Большое спасибо. К сожалению, пока я еще не прочитал. Видишь ли, я здесь оказался в кругу совершенно иных проблем, очень далеких от теоретических и богословских. Впрочем, мы знаем давно уже, что богословские проблемы всегда отражают те жизненные положения, в которых пребывает Церковь и люди, ее составляющие. Люди, которые меня окружают – их трудно назвать приходом в прежнем понимании, – ставят передо мной совершенно новые вопросы. Когда я работал в Польше, я имел дело с польскими католиками, воспитанными в определенной традиции, в рамках национальной культуры. То, что я наблюдаю здесь, – совершенно другая картина. Зная, что Церковь католическая, мы не всегда осознаем, что в практическом смысле всегда имеем дело с этнорелигией. Христианская среда, которая сложилась в Израиле, чрезвычайно разнородна, ее составляют множество церквей со своими традициями и пониманиями: даже католики представлены здесь очень разнообразно. Кроме моих собратьев-кармелитов, приходится общаться с маронитами, мелькитами и многими другими разновидностями, которые здесь

представлены разными христианскими организациями, включая многие монашеские общины «Малых Братьев Иисуса» и «Малых Сестер Иисуса», и каждая из этих ветвей имеет свои особые черты и свое видение. К примеру, среди «малых братьев и сестер» есть пропалестинские и произраильские, и между ними особые разногласия. Одно такое Иерусалимское Братство недавно даже закрыли: слишком тяжело жить с арабами, не разделяя их ненависти к евреям. Не говорю уж о разнообразных православных, между которыми тоже нет никакого согласия – церковь Московской патриархии находится в глубоком конфликте с зарубежниками и так далее до бесконечности. Я даже не пытаюсь охватить всю картину.

Но я как приходской священник постоянно сталкиваюсь с проблемами внутри моей малой общины. Польские женщины и их дети, венгры, румыны и отдельные люди, не ужившиеся в своих «национальных» домах, но придерживающиеся еще своих «домашних» традиций, с большим трудом проходят культурную ассимиляцию в новой стране. Что же касается евреев-католиков в остальном мире, то они, как правило, тоже чувствуют себя не особенно уютно в той среде, в которой живут. Но моим – особенно неуютно.

Только здесь, в Израиле, в этом столпотворении народов, я воочию убедился, что практически священник всегда работает не с абстрактными людьми, а с представителями определенного народа, и каждый народ имеет, по-видимому, свой собственный, национальный путь ко Христу, и, таким образом, в народном сознании возникает Христос-итальянец, Христос-поляк, Христос-грек, Христос-русский.

Мне же надлежит искать на этой земле, в среде народа, которому я принадлежу, Христа-иудея. Излишне говорить, что Тот, во имя которого апостол Павел объявил незначимыми земную национальность, социальные различия и даже пол, был в исторической реальности именно иудеем.

У меня состоялось знакомство с молодым эфиопским епископом. Он говорил важные вещи: «Африканцы не могут принять европейского христианства. Церковь живет в своем этносе, и нельзя навязывать всем римскую интерпретацию. Царь Давид плясал перед престолом. И африканец готов плясать. Мы – более древняя церковь, чем римская. Мы хотим быть такими, какие мы есть. Я учился в Риме, я много лет молился в римских церквях. Но мои чернокожие прихожане не имеют этого опыта, почему я должен требовать от них отказа от их природы, настаивать на том, чтобы они становились Римской

церковью? Церковь не должна быть так централизована. В поместной свободе – универсализм!»

Тут я с ним согласен. Эфиопская церковь оформилась до разделения на Восточное и Западное христианство – какое ей дело до проблем, имевших место после этого?

Я готов разделить эту точку зрения, но уже не как эфиоп, а как еврей. В Польше это просто не могло бы прийти мне в голову. Знаешь, в Белоруссии, у немцев, я хотел выглядеть немцем, в Польше я был почти поляком, а здесь, в Израиле, совершенно очевидно, что я есть еврей.

И еще: показывая двум семинаристам из Рима гору Кармель, забрели в одно друзское селение и выше на горе нашли заброшенную церковь. Когда-то при ней в хибаре жили два монаха, но теперь никого нет. Даже непонятно, у кого испрашивать разрешения. Я собрал своих прихожан, начали там убираться: вынесли весь хлам, мусор. Поставили двенадцать камней – для алтаря. Конечно, надо очень много денег, чтобы все это привести в пригодный для служения вид. Пока что я написал письмо к местному начальству – о разрешении восстановить церковь.

Кстати, я получил израильское гражданство – совершенно не тем путем, каким хотел. Мне дали натурализацию по факту моего здесь пребывания, но евреем не записали. Кажется, я тебе об этом уже сообщал. После того как я проиграл процесс, внесли поправку в закон – теперь евреем называется родившийся от еврейской матери, считающий себя евреем и не принявший другого вероисповедания. То есть получилось даже хуже – теперь при въезде в Израиль иммигрант обязан ответить на вопрос, какое у него вероисповедание, и евреям-христианам по новому закону могут отказать в гражданстве. Вот чего я добился!

В моем удостоверении личности написано: «Национальность не определена»!

Дорогой Владек! Здесь очень много работы, так много, что иногда я не успеваю думать. Почему Господь так устроил в моей жизни: когда я был молод, скрывался от немцев у монахинь в разоренном монастыре целых полтора года, не смея носа высунуть наружу, и времени для размышлений было тогда больше, чем мыслей. Теперь же я постоянно чувствую нехватку этого «пустого» времени. На чтение тоже не хватает времени. Но в связи с чтением – просьба: если

попадутся труды английского библеиста Гарольда Раули, но не об апокалиптике, а старая его книжка о вере Израиля, пришли, пожалуйста. Я нашел о ней упоминание, но без библиографической ссылки.

Мы давно знаем, что вопрос Пилата «Что есть истина?» – только риторика. А вопрос «Что есть вера?» – не риторика, а жизненная потребность. Слишком много на свете людей, которые веруют в правила, в свечи, скульптуры и другие штучки, веруют в интересных людей и в странные идеи. Может, искать здесь содержания так же глупо, как искать истину? Но я хочу, чтобы вера, которая у каждого человека есть личная тайна, была очищена от шелухи и сора. До цельного и неделимого зерна. Одно дело – верить, другое дело – знать, но важнее всего знать, во что веришь.

Брат во Хр. Даниэль.

23. Январь, 1964 г.

Материалы из израильских газет

4 декабря 1963 года римский папа Павел VI оповестил о своем намерении совершить паломничество в Святую Землю. Он не употребил названия государства Израиль, а использовал слово «Палестина», и одно это отчетливо показывало отношение Павла VI к еврейскому народу и его государству. В Иерусалиме решение папы вызвало недоумение. Предварительная договоренность, принятая при визитах глав государств, отсутствовала. Пресса отреагировала резко, чувствовалась обида. Доктор Герцль Розенблюм писал в передовице «Едиот ахронот»: «Факт, что нам не удалось ничего сообщить, факт, что о решении «святого престола» наш посол в Риме узнал из газет, а члены правительства услышали по радио, удивляет».

Итальянское информационное агентство объявило от имени Ватикана, что визит носит чисто религиозный характер и вовсе не означает признания государства Израиль.

Ватикан сообщил, что четвертого января 1964 года самолет Павла VI приземлится в иорданском аэропорту в Рабат-Аммоне. Из столицы Иордании «Его Святейшество» отправится в своем лимузине в Старый город (Иерусалим). Там он переночует в ватиканской миссии. На следующий день Павел VI перейдет границу и прибудет в Израиль. Он навестит Галилею и Нацерет, посетит еврейскую часть Иерусалима и поднимется на Сионскую гору, после чего возвратится в Старый город через переход Мандельбаума.

На третий день визита папа побывает в Бейт-Лехеме, затем вернется в Рабат-Аммон и оттуда отбудет в Ватикан.

Заброшенный участок дороги между Дженином и Мегидо был выбран местом встречи главы католической церкви и руководителей государства Израиль. Заурядная точка на карте, ярко обозначающая состояние войны, в котором пребывает наша страна.

«Маарив» писал, что неспроста Павел VI выбрал местом встречи Мегидо: «Неужели нет среди нас человека, знакомого с Откровением Иоанна? Ведь там же ясно написано, что в конце дней в Мегидо произойдет битва Добра со Злом (антихристианскими силами). Именно там мы должны встретить папу? Да еще в полном правительственном составе? Ведь в последние недели Ватикан не переставал заявлять, что государства Израиль для него не существует?»

Именно здесь решил Павел VI встретиться с руководителями еврейского государства: на разрушенной дороге, по которой с 1948 года никто не ездил».

Министерская комиссия предложила не возражать против пожеланий понтифика и организовать торжественную церемонию в Мегидо. Было решено, что в Мегидо прибудут президент Залман Шазар, Главный раввин Нисим Ицхак и несколько министров. В обществе такое решение не вызвало восторга.

Член комиссии доктор Зерах Вархафтиг высказал мнение, что поскольку визит является чисто религиозным, то ни президент, ни члены правительства не должны спешить засвидетельствовать почтение «Его Святейшеству». Для этого вполне подходят чиновники министерства религий.

Посреди подготовки столь важного события Главный раввин Израиля рав Нисим Ицхак заявил, что в Мегидо он не поедет. Разразился ужасный скандал. Все тут

же забыли о споре вокруг поездки президента. Главный раввин отказывается выполнить решение правительства, и никто его не может уговорить. Отказ рава Нисима сделался горячей темой всех мировых средств массовой информации. Само паломничество папы отошло на задний план; теперь вся пресса говорит о противостоянии между главой католической церкви и раввином, что, конечно, истолковывается как противостояние католичества и всего иудаизма.

Спец. кор. Рафаил Пинес.

* * *

ОТЧЕТ О ПРЕБЫВАНИИ ПАПЫ ПАВЛА VI В ИЗРАИЛЕ

Одиннадцать часов находился папа Павел VI на территории Израиля: с 9:40 пятого января 1964 года до 20:50 того же дня. Понтифик прибыл в Израиль по шоссе Дженин – Мегидо и выехал через переход Мандельбаума в Иерусалиме. Днем ранее он прилетел из Рима в Рабат-Аммон; оттуда поехал в Иерусалим. Иорданцы использовали визит папы для раздувания яростной антисемитской пропаганды. В Старом городе папу встречали толпы народа. Полиция с трудом сдерживала натиск толпы. Понтифика чуть не смяли. В Израиле же встреча была довольно прохладной. В Нацерете тридцать тысяч человек собрались на улицах города. В Иерусалиме особого оживления не было.

На торжественную встречу в Мегидо отправились президент Израиля Залман Шазар, премьер-министр Эшколь, его заместитель Аба Эбен, министр по делам религий Зерах Вархафтиг, председатель Кнессета Кадиш Луз и министр внутренней безопасности Шалом Шитрит. Голда Меир накануне сломала ногу, поэтому не смогла увидеть «обожаемого» ею понтифика. Те, кто ожидал, что папа упомянет государство Израиль, жестоко ошиблись. Хотя представители правительства не уставали повторять, что визит носит чисто религиозный характер, они подчеркивали, что визит Павла VI имеет большое государственное значение. Через одиннадцать часов после приезда папа держал прощальную речь. Сначала он поблагодарил «власти» и сказал, что никогда не забудет визита в святые места. Он отметил также, что «церковь любит всех». И тут среди ясного неба раздался гром: папа упомянул Пия XII: «Мой предшественник, великий Пий XII, делал все возможное во время последней войны, чтобы помочь гонимым, вне зависимости от их происхождения. Сегодня слышатся голоса обвиняющих этого святого человека в грехах. Мы заявляем, что нет большей

несправедливости, чем эти обвинения. Его память для нас священна». (Кто такой Пий XII? Во многом благодаря попустительству сего «святого» мужа погибли шесть миллионов евреев, а он даже пальцем не пошевелил ради их спасения. А ведь стоило только слово сказать! Сколько бы жизней было спасено!) Даже католики были возмущены откровениями Павла VI. Само упоминание имени антисемита-папы в Иерусалиме было по меньшей мере бестактно. С борта самолета понтифик послал благодарственные телеграммы всем принимавшим сторонам. К королю Хусейну папа обратился по полному титулу и также добавил благодарность «любимому мной народу Иордании». Не так поступил паломник с Израилем. Телеграмма начиналась словами: «Господину президенту Шазару, Тель-Авив». Не Иерусалим, упаси Бог.

Соб. кор. Ариель Гиват

24.

Июль, 1964 г., Хайфа. Письмо к настоятелю Ливанской Провинции Ордена босых братьев Пресвятой Девы Марии с горы Кармель

Ваше Высокопреподобие!

Довожу до Вашего сведения, что в прошлом месяце я получил огорчительную информацию о реакции одного из братьев нашей обители на встречу Понтифика с группой политических деятелей в Мегидо. Речь идет о брате Даниэле Штайне, переведенном в наш монастырь из Польши в 1959 году. В то время была большая нужда в священнике, владеющем польским языком для совершения служб и пастырской работы среди польскоговорящего населения Хайфы. Брат Даниэль успешно справляется со своими обязанностями, все отзывы от прихожан весьма положительного характера, чего нельзя было сказать о его предшественнике.

После получения апелляции от одного из наших братьев я вызвал брата Даниэля Штайна для увещательной беседы. Он высказал мне свою точку зрения на некоторые вопросы церковной политики, которые можно резюмировать

следующим образом:

1. Брат Д. полагает, что на земле Израиля должна быть восстановлена христианская еврейская община (!).
2. Брат Д. полагает, что современная Католическая Церковь, порвав с иудейской традицией, утратила связь со своими корнями и находится в состоянии болезни.
3. Брат Д. полагает, что для исцеления этой «болезни» необходима «делатинизация» церкви через инкультурацию христианства в местные культуры.

Мною было указано на церковную дисциплину, которой он обязан придерживаться в своем служении, в чем он согласился со мной только отчасти и заявил, что проведение служб на иврите, которое он пытается осуществить, не противоречит никаким церковным установлениям.

Не чувствуя себя достаточно компетентным для принятия какого-либо решения, я счел долгом изложить содержание нашей беседы Вам. К моему письму прилагаю также и первичный документ, на основании которого мною была проведена настоящая беседа.

С глубоким уважением,

Брат Н. Сарименте,

настоятель монастыря «Стелла Марис».

Июнь, 1964 г.

Ваше Высокопреподобие!

Считаю долгом своего монашеского послушания поставить Вас в известность о недопустимых высказываниях нашего насельника брата Даниэля Штайна,

которые он давно себе позволяет относительно позиции Святого Престола.

Высказывания Д. Штайна и ранее выражали несогласие с церковной политикой на Ближнем Востоке. Он заявлял, что непризнание государства Израиль со стороны Ватикана ошибочно и является продолжением антисемитской политики Церкви. Он позволял себе ряд конкретных высказываний, осуждающих позицию Папы Пия XII в годы нацизма и возлагал на него вину за непротивление уничтожению евреев во время войны. Он также высказывался в том смысле, что Ватикан ведет политическую интригу в пользу арабов из страха перед арабским миром. Брат Даниэль, будучи евреем, придерживается произраильских взглядов, и я отношу это за счет его происхождения, и это отчасти объясняет его позицию.

Однако его комментарии к важнейшему событию последнего времени – приезду Его Святейшества на Ближний Восток и исторической встречи Его Святейшества с государственными деятелями Израиля на дороге Дженин – Мегидо носят огорчивший меня характер осуждения церковной позиции, о чем не могу не поставить Вас в известность. Его взгляды представляются не вполне соответствующими тем представлениям, которые приняты в Ордене.

Брат Илия.

Август, 1964 г.

Письмо к Генералу Ордена кармелитов

От настоятеля Ливанской Провинции Ордена босых братьев Пресвятой Девы Марии с горы Кармель.

Ваше Высокопреподобие, дорогой брат Генерал! Посылаю Вам ряд документов, связанных с пребыванием и деятельностью в монастыре «Стелла Марис» священника Даниэля Штайна. Не представляется ли Вам целесообразным передать настоящие документы в соответствующие ведомства Римской Курии?

Я имел беседу со священником Штайном и предложил ему изложить в письменном виде свои соображения по поводу служения на иврите. Не берусь

принимать решение без Ваших рекомендаций.

Настоятель Ливанской Провинции Ордена босых братьев Пресвятой Девы Марии с горы Кармель.

25. 1996 г., Галилея. Мотав «Ноф А-Галиль».

Магнитофонная запись разговора Авигдора Штайна с Эвой Манукян

ТРЕТЬЯ КАССЕТА

АВИГДОР. Ну что, Эва, я могу рассказать тебе о жизни Даниэля в монастыре? Впервые, сам я там ни разу не был. Ты же заходила туда, ты лучше знаешь, как там все устроено.

ЭВА. Видела немного. Дальше порога не пустили. Женщин не пускают. Только Голду Меир однажды там принимали. Там со мной никто не захотел разговаривать. Сказали, что настоятеля нет. А секретарь его, грек, не знает английского, только руками машет: нет, нет!

АВИГДОР. Ты мне напомни, я найду тебе письмо, которое я получил от одного нашего приятеля из «Акивы» вскоре после войны. Оно у меня хранится. Там про самое начало его жизни в монастыре, еще в Польше. А ты сама почему его не спросила?

ЭВА. Тогда он меня спрашивал. И вообще – о другом говорили.

АВИГДОР. Да, он о себе не любил говорить. Он как партизан: если не считает нужным что-то говорить – не проговаривается. Лет пять прошло, прежде чем я понял, насколько ему трудно жить в монастыре. Понимаешь, там очень многое зависело от настоятеля. Если настоятелем был человек терпимый, широких взглядов, складывались нормальные отношения. Но настоятели меняются,

кажется, раз в три года. За те годы, что он жил в «Стелла Марис», их сменилось много. Без малого сорок лет прожил Даниэль в этом месте.

Один настоятель, как я помню, его просто ненавидел. Я не знаю, что там делают и как живут другие монахи. Но все они живут внутри монастыря и наружу почти не выходят. Никто не знает иврита. Когда кто-то из монахов заболел, попадал в больницу, Даниэль всегда сопровождал его как переводчик. Без него ни одно дело, связанное с внешним миром, не могло решаться. Опять-таки, машина. Ты понимаешь, он, вскоре после того как приехал, купил мотороллер «веспа» и начал гонять по всей стране. А потом купил машину. Ну, это уже когда он стал зарабатывать экскурсиями.

Сначала была «мазда» совершенно разбитая. Потом «фордик» допотопный. Вот ты понимаешь, как я это видел со стороны: там живут двенадцать, пятнадцать, что ли, монахов. Даниэль вставал в четыре утра на молитву. Что там они делают, я не знаю. Ну, в саду работают, там чудесный сад и небольшой виноградник. В саду Даниэль никогда не работал. Он после утренней молитвы уезжал – с самого начала стал вроде социального работника. Это только так называется – священник! Понимаешь, по-хорошему говоря, он должен был быть врачом или учителем. Он был бы очень хорошим врачом. Наверное, он был хорошим монахом. Вообще все, что он делал, он делал по-честному, очень хорошо.

А тамошние монахи – совсем другое дело. Он был для них чужак. Во-первых, еврей. Там жил один монах, который с ним вообще не здоровался. Всю жизнь в одном монастыре, а он так с ним до смерти и не разговаривал. Даниэль смеялся. Брат его везет к врачу, а тот молчит и в сторону смотрит. Очень сложное у него было положение. Но ты же поняла его характер – он никогда не жаловался, только как будто посмеивался над собой. А его приход? Что такое был его приход? Люди неприкаянные, оторванные от своих мест, в основном католички, вышедшие замуж за евреев, – то больные, то сумасшедшие, с детьми, сбитыми с толку. Ты не думай, пожалуйста, что я не понимаю, как трудно жить в Израиле нееврею. Очень сложно. До Даниэля был один священник, ирландец, и его прихожане не захотели, потому что он был настоящий антисемит. А эти здешние католики, они же все связаны с евреями кровными узами. У Даниэля была одна прихожанка, которая спасла своего мужа, он полтора года жил в подвале, а она каждую ночь приносила ему еду, уносила горшок, все это под носом у немцев. И такой женщине священник говорил: ты наплодила жиденят! В общем, этого ирландца перевели на какой-то греческий остров, где про евреев и не слыхали, и всем хорошо. А Даниэля – в Хайфу, к здешним католикам. Он служил первые

годы по-польски. А потом к полякам стали прибавляться венгры, русские, румыны, кого только у него не было. Все языки. И все приезжие учили иврит – как пройти, сколько за хлеб платить. И постепенно у них язык общения стал иврит. Через несколько лет Даниэль стал служить на иврите. Его прихожане – почти все нищие, толком не работают, рожают детей и получают социальную помощь.

Я приехал в 41-м году в Израиль – через три дня я работал. На том самом месте, где и сейчас. Ну, конечно, подсобным рабочим был сначала. Но про социальную помощь и мысли не было! А эти все его люди – беспомощные, потерянные. И брат стал при них социальным работником – бумаги им писал! Учиться устраивал. И детей тоже, между прочим.

Потом – экскурсии. Сначала приезжали делегации церковные, итальянские католики, немецкие. Он им все показывал. Потом стали приезжать уже не католические группы, просто туристы, и просили его показать святые места. А он Израиль лучше меня знал. Я-то по стране мало ездил – когда мне? Работа, дети. А он здесь каждый куст знал, каждую тропинку. Особенно в Галилее. Он деньги этим зарабатывал. Часть в монастырь отдавал, а часть – на прихожан тратил. Моя старшая дочь всегда говорила: дядька наш – настоящий менеджер. Он все может организовать. Он организовал и школу для приезжих детей, и приют, и богадельню. Дом для прихода купил.

ЭВА. А почему он не ушел из монастыря?

АВИГДОР. Я думаю, что он был солдат! Он был как солдат на службе. Там строгая дисциплина. Он всегда возвращался ночевать в монастырь. Утром уходил, к полуночи возвращался. Не знаю, зачем ему этот монастырь был нужен. Я давно ему говорил – переезжай к нам. Особенно в последние годы, когда дети уехали. Дом у нас уже был этот, большой. Мы с Милкой вдвоем. Хотя бы тарелку супу домашнего ел! Нет, и все.

Доносы на него писали. У меня долго одна бумажка лежала, Даниэль принес. Его как-то вызвал настоятель и вручил повестку в канцелярию премьер-министра. Даниэль приехал к нам, показывает: что бы это значило. А это было уже после суда, казалось бы, вся эта газетная шумиха утихла. Я смотрю на повестку – там адрес вовсе не канцелярии, а службы безопасности. Шин-бет. Вроде вашего ЦРУ. Я говорю: не ходи. Он сидит, молчит, за ухом чешет. У него такая привычка была – когда задумается, за ухом чешет.

«Нет, – говорит, – пойду. У меня с этими службами всю жизнь отношения – я и в полиции работал, и в партизанах был. У меня, между прочим, две медали есть, с Лениным и Сталиным... Я и в НКВД месяца два служил, пока не сбежал».

Я удивился – он мне про НКВД не рассказывал. Тогда он мне рассказал: когда русские вошли в Белоруссию, его сначала наградили медалью, а потом вызвали в НКВД. Один допрашивал, другой писал, а третий сидел и слушал. Когда, где родился, кто мама-папа, бабушка-дедушка, с кем в школе за партой сидел, кто был сосед справа, сосед слева. Ответил. Они опять те же самые вопросы задают. И по третьему кругу: когда, где, папа-мама... Потом говорят – помоги нам, и мы тебе поможем. Мне, говорю, ваша помощь не нужна, а чем я могу служить? Помогите нам разобраться ту канцелярию, где ты работал в Эмске, там все на немецком языке, а нам надо проверить, найти ихних агентов.

А мечтал Даниэль только об одном – поскорее уйти ото всех, он уже свое решение принял. Но он понимал, что добром его не отпустят, согласился, что все им переведет, сдаст им все гестаповские документы. Отвезли его в Эмск, в тот самый дом, откуда он сбежал, за тот же самый стол. Только вместо немецкого капитана русский. И два лейтенанта, русский и белорус. Опять ему форму выдали, на довольствие поставили в той же столовой, где сидел с полицаями. Работа та же самая – все, что когда-то на немецкий с белорусского переводил, теперь на русский переводил. И понимает, что как только все переведет, сразу же арестуют. Вот, месяца два прошло, настал день, когда капитана вызвали в Минск, и русский лейтенант с ним поехал. Белорус за начальника остался. А брат мой – умнейший человек! Подумал-подумал, и явился к лейтенанту отпрашиваться – сказал: «Я всю работу закончил, как договаривались. У меня в Гродно родня, я хочу их навестить. Дайте мне отпуск на несколько дней». А лейтенант-белорус с ним очень конкурировал, думал, что Даниэля за знание иностранных языков могут на его место взять, и он подумал-подумал, и говорит: «Отпустить я тебя не могу, нет у меня таких полномочий. Но если ты к своей родне съездишь, я лично могу этого и не знать...» То есть он не говорит: «А ты сбеги без разрешения», – но вроде бы дает понять. И тогда Даниэль в последний, кажется, раз сбежал от секретной службы.

А теперь своя, израильская, вызывает – что делать? Я говорю – не ходи. Ты сам себе хозяин, к тому же монах. Не ходи, и все.

А Даниэль ухо свое вычесал и говорит: «Нет, я пойду. Это моя страна. Я здесь гражданин». И пошел. Потом дня через три приезжает, я спрашиваю: как сходил? Он смеется.

«Во-первых, – говорит, – что тот капитан, что этот – одно лицо. И вопросы все те же: когда, где родился, кто мама-папа, бабушка-дедушка, с кем в школе на парте сидел, кто был сосед справа, сосед слева... Ответил я. Он опять те же самые вопросы задает. И по третьему кругу – все они как будто одну академию кончали!»

Так смешно он, Эва, это рассказывал. Хотя, казалось бы, смешного мало. Потом его спросили, не хочет ли он помочь стране. Даниэль сказал, что помочь стране он всегда рад. Тот оживился и предложил ему давать информацию о прихожанах. Сказал, что среди них есть наверняка один или несколько засланных агентов из России.

ЭВА. Что ты говоришь, Авигдор! Не может быть!

АВИГДОР. Что, Эва, не может быть? Все может быть! Ты думаешь, не было агентов? Сколько еще было. Здесь – тамошних, там – наших, всюду – ваших. А уж сколько английских служб здесь было, это всем известно. Это же Ближний Восток. Ты думаешь, я здесь в деревне сижу, так в политике не разбираюсь? Очень даже разбираюсь, не хуже Даниэля, хотя он все иностранные газеты читал.

В общем, дальше было дело так – он отказался. «Нет, – говорит, – у меня есть профессиональный долг и профессиональная тайна. Если я почувствую угрозу государству, тогда буду думать, как поступить, но пока я с такими ситуациями не сталкивался».

Тогда капитан говорит: «Может, мы можем быть вам чем-нибудь полезны? Мы вас уважаем, знаем о вашем боевом прошлом, о ваших наградах. Может, у вас есть проблемы, которые мы поможем вам решить?»

«Да, – сказал Даниэль. – Я здесь поставил машину на платную стоянку, будет стоить три лиры. Вы мне их возместите, пожалуйста».

Вот такая история была.

ЭВА. А в каком году?

АВИГДОР. Ну, точно не помню. Помню, он сказал «лиры». Значит, до 80-го года.

26. Август, 1965 г., Хайфа.

Даниэль Штайн – Владиславу Клеху

Дорогой брат! Спасибо за книги. Только что получил посылку. К сожалению, сейчас совершенно нет времени для чтения. Нет даже времени, чтобы ответить на твое письмо. Поэтому обещаю написать длинное письмо с «объяснениями». Твоя интуиция правильно тебе говорит, что вскоре после приезда в Израиль начался некоторый внутренний процесс, и очень многие мои старые взгляды зашатались. Это страна невероятно интенсивной жизни – и социальной, и политической, и духовной – я не люблю этого слова, потому что не принимаю этого разделения жизни на высшую и низшую, на духовную и плотскую. Вопрос, который встал для меня очень остро вскоре после прибытия в Израиль, можно сформулировать так: во что веровал наш Учитель? Вопрос не о том, что Он проповедовал, а именно – во что Он веровал? Это интересует меня более всего. Не обещаю, что напишу тебе о моих размышлениях по этому поводу в ближайшее время, но сделаю это непременно.

Поздравляю тебя с праздником Преображения. Вчера я служил мессу на вершине горы Табор. Там стоят два храма – католический и православный, отгороженные друг от друга решетками. Мы нашли место на склоне горы, чуть ниже вершины. Думаю, как раз в том месте, где апостолы пали на землю, пораженные видением. И там мы молились. Кроме моих постоянных прихожан с нами были несколько православных и две англиканки. Большая радость.

Ржавая решетка, которая разделяет эти две церкви, мне даже во сне приснилась. Эта решетка между Петром и Павлом! И в таком месте! Из головы не выходит. Но поскольку долгие раздумья мне, человеку легкомысленному, не очень свойственны, я написал уже прошение Латинскому Патриарху о разрешении создать здесь, в Хайфе, христианский союз всех номинаций – для совместной молитвы. Я в душе размышляю также и о возможности совместной

литургии. Если в этом направлении работать, то можно было бы увидеть это при нашей жизни. Я не сумасшедший и понимаю, как много препятствий на этом пути, но если Бог этого захочет, то оно и будет.

Братский поцелуй. Твой Даниэль.

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

2006.3.01. Москва.

Письмо Людмилы Улицкой Елене Костюкович

Дорогая Ляля! Вот какое у меня неожиданное сообщение – еще в ноябре, в Воллензеле, оказавшись с отрубленным телефоном, неработающим компьютером и говорящей исключительно по-фламандски хозяйкой, в комнате с медитативным ковром из индонезийской тапы, я поняла, что больше всего хочу написать о Даниэле. Ни увлекательный мифологический сюжет, ни «Зеленый шатер», который уже отчасти существует, – ничего этого. Только о Даниэле. Но я полностью отказалась от документального хода, хотя все книжки-бумажки, документы, публикации и воспоминания сотен людей выучила, как полагается рабу документа, наизусть. Начала писать роман, или как это там называется, о человеке в тех обстоятельствах, с теми проблемами – сегодня. Он всей своей жизнью втащил сюда целый ворох неразрешенных, умалчиваемых и крайне неудобных для всех вопросов. О ценности жизни, обращенной в слякоть под ногами, о свободе, которая мало кому нужна, о Боге, которого чем дальше, тем больше нет в нашей жизни, об усилиях по выковыриванию Бога из обветшавших слов, из всего этого церковного мусора и самой на себя замкнувшейся жизни. Здорово завернула?

С самого дня знакомства с Даниэлем я вокруг этого кручусь, и ты знаешь, сколько я сделала попыток к этому прикоснуться. Вот еще одну делаю. Я попытаюсь на этот раз освободиться от удавки документа, от имен и фамилий реальных людей, которых можно уязвить, причинить им вред и сохранить то, что имеет «нечастное» значение. Я меняю имена, вставляю своих собственных, вымышленных или полувывмышленных героев, меняю то место действия, то время события, а себя держу строго и стараюсь не своевольничать. То есть я

заинтересована только в полной правдивости высказывания. Оставляю за собой право – как всегда – на полную неудачу. Пожалуй, это самая большая роскошь, которую может позволить себе автор в эпоху рыночных отношений.

В общем, посылаю тебе первую часть того, что я успела написать. Боюсь, что мне не справиться без твоего участия – дружеского и профессионального. Многие я тебе рассказывала раньше, но ты встретишь и совершенно тебе неизвестных героев, которые только что придуманы и еще мягонькие и теплые, как свежеснесенные яйца – знаешь ли ты, что скорлупа яйца внутри курицы гораздо мягче, чем после выхода из клоаки? У птиц, дорогая моя, не задница, а клоака. Это немногие остатки моего биологического образования.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://telnovel.me/lyudmila-ulickaya/daniel-shtayn-perevodchik>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)